

М 39.

P176684

# МАЯКОВСКИЙ С НАМИ



АЕТГИЗ





# М А Я К О В С К И Й С Н А М И

*Избранные произведения*  
**В. В. МАЯКОВСКОГО**

**Государственное Издательство Детской Литературы**  
**НКП РСФСР**  
**Москва 1942 Ленинград**



*В. В. Маяковский.*  
*(1924)*

### **ЖИЗНЬ СТИХА**

В начале апреля 1942 года я получил письмо из Ленинграда. Писала студентка, теперь медсестра:

«Простите меня, что я считаю нужным напомнить о том, что, вероятно, вам еще в сто раз дороже, чем мне. Но у меня почему-то появилось глупое опасение: вдруг в срочных делах московской военной жизни вы забудете или вспомните слишком поздно... Ведь скоро 14-е апреля, день Маяковского, 12-я годовщина со дня его гибели. И вот я решила напомнить вам, человеку, который близко знал Маяковского, что в этот день мы все, воспитанные его стихами, с его стихами в сердце стоящие на боевых постах, снова вспомним бессмертное имя поэта, наизусть процитируем его стихи и захотим перечитать, передумать их заново.

...Я никогда не слышала и не видела живого Маяковского. Вы счастливее: вы росли около него, слышали его голос. Но я, как и все мои подруги, давно в восторженно дружим с Маяковским. И как помогал, как хорошо работал он и сражался с вами вместе в эту трудную осадную ленинградскую зиму! Помните, как у него:

...только  
в этой зиме  
понятной  
стала  
мне  
теплота  
любвей,  
дружб  
и семей.

Лишь лежа  
                     в такую вот гололедь,  
 зубами  
                     вместе  
                     проляскав —  
 поймешь:  
                     нельзя  
                     на людей жалеть  
 ни одеяло,  
                     ни ласку.  
 Землю,  
                     где воздух,  
                     как сладкий морс,  
 бросишь  
                     и мчишь, колеса, —  
 но землю,  
                     с которою  
                     вместе мерз,  
 покек  
                     разлюбить нельзя».

Так писала незнакомая девушка, одна из рядовых защитниц города-героя, города-легенды. В ее письме, написанном химическим карандашом на использованных бланках госпиталя, с историей болезни на обороте, приведено много строф Маяковского. Но еще больше в нем суровой и ясной веры в завтрашний день, который принесет желанную победу. И каждая строка этого письма, строгого и страстного, — благодарность поэту, чьи стихи укрепляли эту мужественную веру и помогали людям выразить ее.

Мне рассказывали недавно мои ленинградские друзья, как, встречая новый, 1942 год в замороженной, темной комнатке, вспоминали они строки Маяковского:

Пусть нет  
     у нас  
 виноградных лоз,  
 и голод —  
 ужины наши,  
 вином  
 обиженно-горьких слез  
 глаз не наполним чаши.  
 Мы верим,  
 неся спасение от  
 войны  
 и прочих бед вам,

во всем плодородии  
новый год  
придет  
в конце победном.

На Урале этой зимой за двенадцать дней были построены на пустыре огромные цеха для одного военного завода. Цеха эти возводились по личному заданию товарища Сталина. На строительство пришли люди, которые до этого дня занимались в жизни совсем иными делами. Работали студенты, служащие, музыканты. Вперед, обгоняя других в соревновании, шла бригада землекопов, возглавляемая театральным художником-декоратором. Дул ледяной уральский ветер, стоял сорокаградусный мороз. И парень в ватнике и стеганых штанах, гоня по доскам настила свою тачку, звонко декламировал сквозь выгу:

Раньше художники,  
карандашами дыша,  
рисуночки рисовали на загородной дачке, —  
мы не такие,  
мы вместо карандаша  
взяли каждый  
в руки  
по тачке.

В девятнадцатом году и совсем по другому поводу написал эти стихи Владимир Владимирович Маяковский. Тогда они были острой приправой к сердитому рисунку, помещенному в знаменитых «Огнях Роста», где работал Маяковский как поэт и художник. Но стихи Маяковского переживают сейчас свою вторую жизнь. «Железки строк» его не заржавели, не стали стихотворным ломом. Они так же воинственно и чисто сверкают, как двадцать лет назад, они так же остры и взрывчаты, у них такая же дальнобойная, бодрящая или пригвождающая сила, какая была в те дни у «Огонь Роста», сработанных Маяковским. Надежное, выверенное, благородное оружие!.. Стих пережил свое время, обрел сегодня новый смысл, начал вторую, не менее прекрасную, чем первая, жизнь. В этом и есть смысл истинного и боевого бессмертия настоящего искусства, которое, запечатлев свое время, свою эпоху, уверенное является в завтрашний день и снова открывает людям свои неисчерпаемые глубины.

Я видел не так давно в одной из фронтовых газет пятистишие Маяковского. Редакция заменила в нем лишь одно слово, одно вышедшее в тираж имя, и стихи плотно стали на газетной полосе, словно их написал сегодня поэт, вместе с бойцами Красной армии идущий в наступление.

Рабочие столицы,  
крестьяне окраины,  
слушайте с юга вздымающийся плач.  
Это над Киевом,  
над столицей Украины,  
тешится Гитлер-палач.

В самые тяжелые для Москвы дни, когда приближались к порогу столицы бронированные орды гитлеровцев, когда московские дни шли, как написал бы об этом снова Маяковский — «от боя к труду — от труда до атак», в канун Октябрьской годовщины, на одном из номерных московских заводов висел плакат со стихами. И то были стихи Маяковского:

Не с пустыми руками,  
не торжественным шествием,  
под ружьем,  
за станками  
революцию чествуем!

Эти же стихи видел я в Москве в майские дни 1942 года. Поэт является сегодня к нам, властно и требовательно призывая нас к борьбе, работе:

Республика,  
с тобой грозят  
расправиться жестоко!  
Работай так,  
чтоб каждый потом вымог.  
Крепите оборону,  
инженер и токарь,  
крепи шахтер,  
газетчик,  
врач  
и химик!

Не только стих Маяковского, но сам живой пример его жизни, вдохновенной, беспокойной, целиком мобилизованной для революции и страны, зовет сегодня нас выполнять свой долг. Грандиозный образ Маяковского, поэта-мастера, поэта-чернорабочего, трудившегося — «дела по горло, — рукав — по локти» — на самых тяжелых участках революции, высокий подвиг поэта стоит сегодня перед каждым художником, каждым писателем. На трудный и доблестный путь, которым прошел впервые в истории литературы Маяковский, вступили сегодня десятки советских поэтов и писателей. После Маяковского уже никого не удивляет, что наши поэты-лирики работают во фронтовых газетах, сочиняют стихи для плакатов, трудятся над агитками и листовками, подписывают сти-



хами своими «Окна ТАСС». Москва оклеена сегодня этими яркими и броскими плакатами. «Окна ТАСС» — это прямые потомки славных «Окон Роста», новый, своеобразный вид многострельного поэтического оружия, созданный Маяковским.

Его нет сейчас с нами. Но каждый из нас, на каком бы участие литературы он ни работал, стихом Маяковского, неистовой жизнью его, силой и выскательностью его искусства проверяет сегодня свою работу. Что бы сказал Маяковский о ней? Как бы он взялся за эту тему, какие бы слова нашел он сейчас?..

Он знал, что война придет рано или поздно. «Неужели полезут на вас? — спрашивал он, отрываясь утром от газеты и обводя нас своим, навсегда запоминающимся и помрачневшим взглядом. — Неужели сунутся? — Он опускал кулак на скомканную газету. — Ужасно не хочу войны. Если случится... буду полезен...»

Он любил свою страну беспокойной, гордой и огромной любовью. Тревожно поглядывая на Запад: что готовится оттуда, хлестал фашистов жгучими и безжалостными бичами своих стихов. Со страстным омерзением и уничтожающей насмешкой изобразил он в своих стихах Муссолини.

И вот они «полезли»... Пришла война, для которой он вооружил нас своими стихами. Нет, конечно, — не только бессмертные «Окна Роста», не только газетные его стихи и плакаты вернулись сегодня в наш боевой строй.

«Маяковский с нами» — так названа эта книжка. В ней собраны те стихи поэта и отрывки из его поэм, которые сегодня, в трудное военное время, стали еще более близки нам. Эти стихи переписывают в походные тетрадки, везут с собой на фронт, перечитывают в блиндажах незадолго до начала боя. Эти стихи стали неотъемлемой частью нашего представления о жизни, о родине, о народе нашем. Они вошли в наше сознание, в наш язык. Когда мы говорим о своей любви к родной стране, когда мы думаем о просторах мира или стремимся найти точное выражение для большого чувства, переполняющего нас, будь то вера в силу народа или любовь к женщине, — стих Маяковского, как верный друг, помогает нам найти правильное решение, верные слова и выводит нас на крутой подъем, к истинной правде, к высоким радостям человеческой жизни.

В этой книжке ты прочтешь стихи Маяковского о революции. Они помогут тебе почувствовать строгое величие наших дней. Каждый, кто любит литературу, поэзию, найдет в этой книге стихи, которые, как «Необычайное приключение», «Юбилейное», «Послание пролетарским поэтам», «Разговор с фининспектором о поэзии», помогут найти сегодня свое место в труде и в бою.

Великолепное разнообразие жизни, артезианские глубины больших чувств, горизонты океанов, дали заморских земель еще раз

раскроются перед тобой, когда ты перечитаешь собранные здесь стихи. Жгучая и грозная насмешка поэта поможет тебе и сегодня осмеять бюрократов, обывателей, паникеров, болтунов. О долге гражданина и долге патриота напомнят тебе боевые стихи Маяковского. И с новой силой всколыхнет тебя светлая гордость за страну, в которой ты живешь, когда ты читаешься в «Стихи о советском паспорте», «Товарищу Нетте», в главы из «Хорошо!» Войдя же в широкий мир стихов Маяковского! Полной грудью вдыхая чистый воздух его поэзии, освеженный грозами революции. Прислушайся к каждой строке, вбери в себя все, что с такой щедротой дала тебе звонкая сила поэта.

Взволнованная мысль поэта, чистое, не знавшее покоя сердце, ярость бойца, нежность лирических строк, размах исполинских образов и застенчивая человеческая ласка — всем вооружил он нас, чтобы легче было нам выдержать трудную пору войны, чтобы яростней мы дрались с врагом, чтобы еще беззаветнее была наша любовь к своей земле.

Я видел  
                                места,  
  где инжир с айвой  
росли  
                        без труда  
  у рта моего, —  
к таким  
                                относишься  
  иначе.  
Но землю,  
                                которую  
  завоевал  
  и полуживую  
  вынынчил,  
где с пулей встань,  
  с винтовкой ложись,  
где каплей  
  льешься с массами, —  
с такую  
                                землею пойдешь  
  на жизнь,  
на труд,  
                                на праздник  
  и на смерть.

*Лев Кассиль*

**НУ ЧТО Ж!**

Раскрыл я,  
                с тихим шорохом  
глаза страниц...  
И потянуло  
                порохом  
от всех границ.  
Не вновь,  
                которым за двадцать,  
в грозе расти.  
Нам не с чего  
                радоваться,  
но нечего  
                грустить.  
Бурна вода истории.  
Угрозы  
                и войну  
мы взрежем  
                на просторе,  
как режет  
                киль волну.

## ПРИЗЫВ

В ответ  
на разгул  
белогвардейской злобы  
тверже  
стой  
на посту,  
нога!  
Смотри напряженно!  
Смотри в оба!  
Глаз на врага!  
Рука на наган!  
Наши  
и склады,  
и мосты,  
и дороги.



С пользой проведи  
сегодняшнее лето.

Рубаху  
в четыре пота промочив,  
гол  
загоняй  
и ногой и лбом,  
чтоб в будущем  
бросать  
разрынные мячи

в ответ  
на град белогвардейских бомб.  
Нечего  
мускулы  
зря нагонять.

не нам  
растить  
«мужчин в соку».

Учись  
вскочить  
на лету на коня,  
с плеча  
учись  
рубить на скаку.

Жир  
нарастает,  
тяжел и широк,  
на пышном лоне  
канцелярского брюшка.

Служащий,  
довольно.  
Временный жирок  
скидывай  
в стрелковых кружках.

Знай  
и французский  
и английский бокс,  
но не для того,  
чтоб скулу  
сворачивать вбок,

а для того,  
чтоб, не боясь  
ни штыков, ни пули,  
одному  
обезоружить  
целый патруль.

Если  
любишь велосипед —  
тоже  
нечего  
зря сопеть.

Помни.  
на колесах  
лучше, чем пеший,

доставишь в штаб  
боевые донесши.  
Развивай  
дыханье,  
мускулы,  
тело  
не для того,  
чтоб ари  
наращивать бицепсы,  
а чтоб крепить  
оборону  
и военное дело,  
чтоб лучше  
с белыми биться.

### **СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ**

Нет,  
не те «молодежь»,  
кто, забившись  
в лужайку да в лодку,  
начинает  
под визг и галдеж  
прополаскивать  
водкой  
глотку.

Нет,  
не те «молодежь»,  
кто весной  
ночами хорошими,  
раскривлявшись  
модой одеж,  
подметают  
бульвары  
клешами.

Нет,  
не те «молодежь»,  
кто восходя  
жизни зарево,  
услышав в крови  
зудеж,  
на романы  
разбазаривает.  
Разве  
это молодость?  
Нет!

Мало  
быть  
восемнадцати лет.

Молодые —  
это те,  
кто бойцовым  
рядам поределым  
скажет  
вменем  
всех детей:



*В. Б. Маяковский — ученик Строгановского училища.  
Москва, 1909 год.*

«Мы  
земную жизнь переделаем!»  
Молодежь —  
это имя —  
дар  
тем,  
кто влит в боевой  
КИМ,  
тем,  
кто бьется,  
чтоб дни труда  
были радостны  
и легки!

### **СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ**

Жил да был на свете кадет.  
В красную шапочку кадет был одет.  
Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,  
ни черта в нем красного не было и нету.  
Услышит кадет — революция где-то,  
шапочка сейчас же на голове кадета.  
Жили припеваючи за кадетом кадет,  
и отец кадета и кадетов дед.  
Поднялся однажды пребогшущий ветер,  
и клочья шапочку изорвал на кадете.  
И остался он черный. А видевшие это  
волки революции сцапали кадета.  
Известно, какая у волков диета.  
Вместе с манжетами сожрали кадета.  
Когда будете делать политику, дети,  
не забудьте сказочку об этом кадете.

### **НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, ВЫШЕЕ О ВЛАДИМИРОМ МАНКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ**

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцова,  
27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,  
в июль катилось лето,  
была жара,  
жара плыла —  
на даче было это.  
Пригорок Пушкино горбил  
Акуловой горою,



а низ горы —  
деревней был,  
кривился крыш корою.  
А за деревнею —  
дыра,  
и в ту дыру, наверно,  
спускалось солнце каждый раз,  
медленно и верно.  
А завтра  
снова  
мир залить  
вставало солнце ало.  
И день за днем  
ужасно злить  
меня  
вот это  
стало.  
И так однажды разозлясь,  
что в страхе все поблекло,  
в упор я крикнул солнцу:  
«Слазы!  
довольно шлаться в пекло!»  
Я крикнул солнцу:  
«Дармоед!  
занежен в облака ты,  
а тут — не знай ни зим, ни лет,  
сиди, рисуй плакаты!»  
Я крикнул солнцу:  
«Погоди!  
послушай, златолобо,  
чем так,  
без дела заходить,  
ко мне  
на чай зашло бы!»  
Что я наделал!  
Я погиб!  
Ко мне,  
по доброй воле,  
само,  
раскинув луч-шаги,  
шагает солнце в поле.  
Хочу испуг не показывать —  
и ретируюсь задом  
Уже в саду его глаза.  
Уже проходит садом.  
В окошки,  
в двери,  
в щель войдя,  
валилась солнца масса,  
свалилось;  
дух переведа,  
заговорило басом:  
«Гоню обратно я огни  
впервые с сотворенья.  
Ты звал меня?  
Чай гони,

гони, поэт, варенье!»  
Слеза из глаз у самого —  
жара с ума сводила,  
но я ему —  
на самовар:  
«Ну что ж,  
садись, светило!»  
Чорт дернул дерзости мои  
орать ему, —  
skonфужен  
я сел на уголок скамьи,  
боюсь — не вышло б хуже!  
Но странная из солнца ясь  
струилась, —  
и степенность  
забыв,  
снжу, разговорясь  
с светилом постепенно.  
Про то,  
про это говорю,  
что-де заела Роста,  
а солнце:  
«Ладно,  
не горюй,  
смотри на вещи просто!  
А мне, ты думаешь,  
светить  
легко?  
— Поди попробуй! —  
А вот идешь —  
взялось итти,  
идешь — и светишь в оба!»  
Болтали так до темноты —  
до бывшей ночи то есть.  
Какая тьма уж тут?  
На «ты»  
мы с ним, совсем освоюсь.  
И скоро,  
дружбы ге тая  
бью по плечу его я.  
А солнце тоже:  
«Ты да я,  
нас, товарищ, двое!  
Пойдем, поэт,  
взорлим,  
вспоем  
у мира в сером хламе.  
Я буду солнце лить свое,  
а ты — свое,  
стихами».  
Стена теней,  
ночей тюрьма  
под солнц двустволкой пала.  
Стихов и света кутерьма  
сияй во что попало!  
Устанет то,

и хочет ночь  
прилечь,  
тупая сонница.  
Вдруг — я  
во всю светаю мочь —  
и снова день трезвонится.  
Светить всегда,  
светить везде,  
до дней последних донца,  
светить —  
и никаких гвоздей!  
Вот лозунг мой —  
и солнца!

**РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ  
ТОЛКОВАЛА БЕЗ ВСЯКОГО УМА**

Старая, но полевая история

Врангель прет.  
Отходим мы.  
Врангелю удача.  
На базаре  
две кумы,  
вставши в хвост, судачат:  
— Кум сказал, —  
а в ём ума! —  
я-то куму верю, —  
что барон-то,  
слышь, кума,  
меж Москвой и Тверью.  
Чуть не даром  
всё  
в Твери  
стало продаваться.  
Пуд крупчатки...  
— Ну,  
не ври! —  
пуд за рупь за двадцать.  
— А вина, скажу я вам!  
Дух над Тверью водочный.  
Пьяных  
лично  
по домам  
водит околоточный.  
Влюблены в барона власть  
левые и правые.  
Ну, не власть, а прямо сласть,  
просто — равноправие. —  
Встали, ртом ~~лорд~~ ворон.  
Скоро ли примчится?

Скоро ль будет царь-барон  
и белая мучица?

Шел волшебник мимо их.  
— На. — сказал он бабе, —  
скороходы сапоги.  
к Врангелю зашла бы! —  
Вмиг обувшись,

шага в три  
в Тверь кума на это.  
Кум сбрыхнул ей:

во Твери  
власть стоит Советов  
Мчала баба суток пять,  
рвала юбки в ветре,  
чтоб баронский

увидать  
флаг

на Ай-Петри\*.  
Разогнавшись с дальних стран,  
удержаться силась,  
баба

прямо  
в ресторан  
в Ялте опустилась.

В «Грандотеле»  
семгу жрет  
Врангель толсторожий.  
Разевает баба рот  
на рыбешку тоже.

Метрдотель  
желанья те  
зрит —  
и на подносе

ей  
саженный метрдотель  
карточку подносит.  
Всё в копеечной цене.  
Съехал сдуру разум.  
Молвит баба:

— Дайте мне  
всю программу разом! —

От лакеев мчится пыль.  
Прошибает пот их.  
Мчат котлеты и супы,  
вина и компоты.  
Уж из глаз еда течет  
у разбухшей бабы!  
Наконец-то

просит счет  
бабин голос слабый.

---

\* Ай-Петри — гора в Крыму.

Вся собралась публика.  
Стали шелкать счеты.  
Сто четыре рублика  
выведено в счете.  
Что такая сумма ей?!  
Даром!

С неба манна.  
Двести вынула рублей  
баба из кармана.

Отскочил хозяин.

— Нет! —  
(Бледность мелом в рожу.)  
— Наш-то рупь не в той цене,  
наш в миллион дороже. —  
Завопил хозяин лют:  
— Знаешь разницу валют?!  
Беспортошных нету тут,  
генералы тута пьют! —  
Возопил хозяин в яри:  
— Это, тетка, что же!  
Этак  
каждый пролетарий  
жрать захочет тоже. —  
— Будешь знать, как есть и пить! —  
все завыли в злости.  
Стал хозяин тетку бить,  
метрлотель  
и гости.

Околоточный  
на шум  
прибежал из части.  
Взвыла баба:  
— Ой,  
прошу,  
защитите, власти! —

Как подняла власть сия  
с шпорой сапожища...  
Как полезла  
мигом  
вся

вспять  
из бабы пища.

— Много, — молвит, — благ в Крыму —  
только для буржуя,  
а тебя  
мою куму,  
в часть препровожу я. —

Влезла  
тетка  
в скороход

пред тюремной дверью,  
как задала тетка ход —  
в Эрэсэфэсэрю.

Бабу видели мою  
наши обыватели?  
Не хотите  
в том раю  
сами побывать ли?!

### **СВАВКА О ДЕЗЕРТИРЕ,**

устроившемся недурственно,  
и о том, какая участь постигла  
его самого и семью шкурника

Хоть пока  
победила  
крестьянская рать,  
хоть пока  
на границах мир,  
но не время  
еще  
в землю штык втыкать,  
красных армий  
ряды крепи!  
Молодцом  
на коня боевого влазь,  
по земле  
пехотинься пеший.  
С неба  
землю всю  
глазами оглазь,  
на железного  
коршуна  
севши.  
Мир пока,  
но на страже  
красных годов  
стой  
на нашей  
красной вышке.  
Будь смел.  
Будь удел.  
Будь  
всегда  
готов  
первым  
ринуться  
в первой вспышке.  
Кто  
из вас  
не крещен  
военным огнем,

кто считает,  
                                 что шкурнику  
   лучше?  
 Прочитай про это,  
                                 подумай о нем,  
 вникни  
                 в этот сказочный случай.

Защищая  
                 рабоче-крестьянскую Русь,  
 встали  
                 фронтами  
                                 красноармейцы.

Но — как в стаде  
                                 овца паршивая —  
   трус

и меж их  
                         рядами  
                                 имеется.

Жил  
                 в одном во полку  
                                 Силеверст Рябой.

Голова у Рябого —  
                                 пробкова.

Чуть пойдет  
                         ваш полк  
                                 против белых  
   в бой,

а его  
                 и не видно,  
                                 робкого.

Дело ясное:  
                         бьется рать,  
                                 горяча,

против  
                 барско-буржуйского ига.

У Рябого ж  
                         слово одно:  
                                 «Для ча

буду  
                 я  
                         на рожон прыгать?»

Встал стеною полк,  
                                 фронт раскинул  
   свой.

Силеверст  
                 стоит в карауле.

Подымает  
                 пуля за пулей  
                                 вой.

Силеверст  
                 испугался пули.

Дома  
                 печь да ши.  
                                 Замечтал  
   Силеверст.

Бабыя  
     рожа  
         встала  
             из воздуха.  
 Да как дернет Рябой!  
             Чуть не тыщу верст  
 пробежал  
         без единого  
             розыдыха.  
 Вот и холм,  
         а там  
             и дом за холмом,  
 будет  
         дома  
             в скором времечке.  
 Вот и холм пробежал,  
             вот плетень  
                 и дом,  
 вот  
         жена его  
             лускает  
                 семечки.  
 Прибежал,  
         пошел лобызаться  
                 с женой,  
 чаю выдул —  
         стаканов до тыщи;  
 задремал,  
         заснул  
             и храпит,  
                 как Ной, —  
 с ГПУ  
         и то  
             не сыщешь.  
 А на фронте  
         враг  
             видит:  
                 полк с дырой,  
 враг  
         пролазит  
             щелью этою.  
 А за ним  
         и золотозадый  
                 рой  
 лезет в дырку,  
         блестит эполетою.  
 Лезут,  
         в радости,  
             аж не чуют ног,  
 где  
         и сколько занято мест ими?!  
 Пролетария  
         гнул в бараний рог,  
 сыплют  
         в спину крестьян  
             манифестами.



Отошла  
                     земля  
                     к живоглотам назад,  
 наложили  
                     наложница  
                     тяжкие.  
 Лишь свистит  
                     в урядничьей ручке  
   лозѣ —  
 знай, всыпает  
                     и в спину  
   и в ляжки.  
 Улизнувшие  
                     бары  
                     едут в дом.  
 Мчит буржуй.  
                     Не видали три года, никак.  
 Снова  
                     школьника  
                             поп  
                             обучает крестом —  
 уважать заставляет  
                             угодников.  
 В то село пришли,  
                     где храпел  
                                     Силеверст.  
 Видят —  
                     выглядит  
                             дом  
                             аккуратненько.  
 Тычет  
                     в хату Рябого  
                                     исправничий  
   перст,  
 посылает аанять  
                     урядника.  
 Дурню  
                     снится сон:  
                             де в раю живет  
 и галушки  
                     лопает тыщами.  
 Вдруг  
                     как хватит  
                             его  
                             крокодил  
   за живот!  
 То урядник  
                     хватил  
                             сапожищами.  
 «Как ты смеешь спать,  
                     такой-рассякой,  
 мать твою растак  
                     да раззетак!  
 Я тебя аапорю,  
                     я тебя засеку,

и повешу  
тебя  
напоследок!» —  
«Барин!» —  
взвыл Силеверст,  
а его  
кнутом  
хватя помещик  
по сытой роже.  
«подавай  
и себя,  
и поля,  
и дом,  
и жену  
помещику  
тоже!»  
И пошел  
прошибать  
Силеверста  
пот,  
вновь  
припомнил  
барщины мѹку,  
а жена его  
на дворе  
у господ  
грудью  
кормит  
барскую сѹку.  
Сей истории  
прост  
и ясен сказ, —  
посмотри,  
как наказаны дурни.  
Чтобы то же  
не стряслось и у вас,  
да не будет  
меж вами шкурник.  
Нынче  
сына  
даем  
не царям на зарез, —  
за себя  
этот бѹище  
начат.  
Провожая  
рекрутов  
молодолес,  
провожай поя,  
а не плача.  
Чтоб помещики  
вновь  
не взнуздали вас,  
Силеверсту бедняге, —

проводя  
сынов,  
давайте наказ:  
будьте  
верными  
Красной присяге.

### ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ\*

Чуть ночь превратится в рассвет,  
вижу каждый день я:  
кто в глав,  
кто в ком,  
кто в полит,  
кто в просвет,  
расходится народ в учрежденья.  
Обдают дождем дела бумажные,  
чуть войдешь в здание:  
отобрав с полсотни —  
самые важные! —  
служащие расходятся на заседания.  
Заявишься:  
«Не могут ли аудиенцию дать?  
Хожу со времени бна». —  
«Товарищ Иван Ваньч ушли заседать —  
Объединение Тео и Гукона»\*\*.  
Исколесишь сто лестниц.  
Свет не мил.  
Опять:  
«Через час велели притти вам.  
Заседают: —  
Покупка склянки чернил  
Губкооперативом».  
Через час  
ни секретаря,  
ни секретарши нет —  
голо!  
Все до 22-х лет  
на заседании комсомола.  
Снова взбираюсь, глядя на ночь,  
на верхний этаж семизэтажного дома.

\* Напечатано 5 марта 1922 года в «Известиях». Это стихотворение было отмечено Лениным. Выступая с докладом «О международном и внутреннем положении Советской республики» на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 года, Владимир Ильич так сказал о стихотворении Маяковского:

«Вчера я случайно прочел в «Известиях» стихотворения Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вкратце высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно...» (Собр. соч., т. XXVII, стр. 177.)

\*\* Тео — театральная часть Наркомпроса. Гуко — Главное управление кокинозаводства при Наркомземе.

«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —  
«На заседании  
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,  
на заседание  
вырываюсь лавиной,  
дикие проклятья дорóгой изрыгая.  
И вижу:  
сидят людей половины.  
О, дьявольщина!  
Где же половина другая?  
«Зарезали!  
Убили!»  
Мечусь оря.  
От страшной картины свихнулся разум.  
И слышу  
спокойнейший голосок секретаря:  
«Они на двух заседаниях сразу.  
В день  
заседаний на двадцать  
надо успеть нам.  
Поневоле приходится разорваться!  
До пояса здесь,  
а остальное  
там».

С волнения не уснешь.  
Утро раннее.  
Мечтой встречаю рассвет ранний:  
«О хотя бы  
еще  
одно заседание  
относительно искоренения всех заседаний!»

**ТОВАРИЩУ НЕТТЕ \* —  
ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ**

Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор.  
В порт, горящий, как расплавленное лето,  
разворачивался и входил товарищ «Теодор  
Нетте».  
Это — он. Я узнаю его.  
В блюдечках-очках спасательных кругов.  
— Здравствуй, Нетте! Как я рад, что ты

\* Теодор Нетте — советский дипломатический курьер. Убит 5 февраля 1926 года на территории Латвии в поезде, героически защищая дипломатическую почту. Именем Нетте был назван один из пароходов Черноморского флота.

дымной жизнью труб,  
канатся  
и крюков.

Подойди сюда!  
Тебе не мелко?

От Батума,  
чай, котлами покипел...

Помнишь, Нетте, —  
в бытность человеком

ты пивал чай  
со мясю в дип-купе?

Медлил ты.  
Захрапывали сони.

Глаз  
кося  
в печати сургуча,  
напролет  
болтал о Ромке Якобсоне \*  
и смешно потел,  
стихи уча.

Засыпал к утру  
Курок  
аж палец свел...

Суньтесе —  
кому охота!

Думал ли,  
что через год всего  
встрелюсь я  
с тобою —  
с пароходом.

За кормой лунища.  
Ну и здорово!

Залегла,  
просторы на-двое порвав.

Будто навек  
за собой  
из битвы коридоровой

тянешь след героя,  
светел и кровав.

В коммунизм из книжки  
верят среднее.

«Мало ли  
что можно  
в книжке намолоты!»

А такое —  
оживит внезапно «бредни»  
и покажет  
коммунизма  
естество и плоть.

Мы живем,  
зажатые  
железной клятвой.

\* Роман Якобсон — лингвист и литературовед, общий знакомый Маяковского и Нетте.

За нее —  
                     на крест,  
                     и пулю чешите:  
 кто —  
                     чтобы в мире  
                     без Россий,  
                     без Латвий,  
 жить единым  
                     человечьим общежитьем.  
 В наших жилах —  
                     кровь, а не водица.  
 Мы идем  
                     сквозь револьверный лай,  
 чтобы,  
                     умирая,  
                     воплотиться  
 в пароходы,  
                     в строчки  
                     и в другие долгие дела.

Мне бы жить и жить,  
                     сквозь годы мчась.  
 Но в конце хочу —  
                     других желаний нету —  
 встретить я хочу  
                     мой смертный час  
 так,  
                     как встретил смерть  
                     товарищ Нетть.

**РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ  
 ДЕСАНТНЫХ СУДОВ:**  
 «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН»  
 И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ».

Перья-облака,  
                     закат расканарейте!  
 Опускайся  
                     южной ночи гнет!  
 Пара  
                     пароходов  
                     говорит на рейде:  
 то один моргнет,  
                     а то  
                     другой моргнет.  
 Что сигналият?  
                     Напрягаю я  
                     морщины лба.  
 Красный раз...  
                     угаснет,  
                     и зеленый...  
 Может быть,  
                     любовная мольба.

Может быть,   
    ревнует разозленный.   
 Может, просит:   
    — «Красная Абхазия!»   
 Говорит   
    «Советский Дагестан».   
 Я устал,   
    один по морю лазая,   
 подойди сюда   
    и рядом стань. —   
 Но в ответ   
    коварная   
    она:   
 — Как-нибудь   
    один   
    живи и грейся.   
 Я   
    теперь   
    по мачты влюблена   
 в серый «Коминтерн»,   
    трехтрубный крейсер. —   
 — Все вы,   
    бабы,   
    трясогузки и канальи...   
 Что ей крейсер,   
    дылда и пачкун? —   
 Поскулил   
    и снова засигналил:   
 — Кто-нибудь,   
    пришлите табачку!..   
 Скучно здесь,   
    нехорошо   
    и мокро.   
 Здесь   
    от скуки   
    отсыреет и броня... —   
 Дремлет мир,   
    на Черноморский округ   
 синь-слезищу   
    морем оброня.

### ЧУДЕСА!

Как днище бочки,   
    правильным диском   
 стояла   
    луна   
    над дворцом Ливадийским.   
 Взошла над землей   
    и пошла заливать ее,   
 и льется на море.   
    на мир,   
    на Ливадию.

В царевых дворцах — мужики-санаторники.  
Луна, как дура, почти в исступлении.  
Глядят глаза блинорожия плоского  
в афишу на стенах дворца: «Во вторник  
выступление товарища Маяковского». Сам самодержец  
здесь же, рядом,  
гонял по залам и по биллиардам.  
И вот, где Романов дулся с маркёрами,  
шары ложá  
под свитское ржание,  
читаю я крестьянам о форме  
стихов — и о содержании.  
Звонок. Луна отодвинулась тусклая,  
и я, в электричестве, стою на эстраде.  
Сидят предо мною рязанские, тульские,  
почесывают бороды русские,  
ерошат пальцами русые пряди.  
Их лица ясны, яснее, чем блюдце,  
где надо — хмуреют. где надо — смеются.  
Пусть тот, кто Советам не знает пёну,  
со мною станет от радости пьяным:  
где можно еще читать во дворце —  
что? Стихи! Кому? Крестьянам!



Такую страну  
 где еще и сравнивать не с чем, —  
 мыслимы подобные вещи?!  
 И думаю я обо всем,  
 как о чуде.  
 Такое настало,  
 а что еще будет?  
 Вижу:  
 выходят после лекции  
 два мужика слоновьей комплекции.  
 Уселись вдвоем  
 под стеклянный шар,  
 и первый второму  
 заметил:  
 — Мишка,  
 оченно хороша —  
 эта последняя  
 была рифмйшка. —  
 И долго еще  
 гудят ливадийцы  
 на желтых дорожках,  
 у синей водицы.

### КОРОНА И КЕПКА

Царя вспоминаю —  
 и меркнут слова.  
 Дух займет,  
 и если просто «главный».  
 А царь —  
 не просто  
 всему глава,  
 а даже —  
 двуглавный.  
 Он сидел  
 в коронном ореоле,  
 царь людей и птиц...  
 — вот это чин! —  
 И как полагается  
 в орлиной роли,  
 клюв и коготь  
 на живьё точил.  
 Точит  
 да косит глаза грозный,

повелитель  
 жизни и казны.  
 И свистели  
 в каждом  
 онемевшем месте  
 плетищи  
 царевых манифестов.  
 «Мы! мы! мы!  
 Николай второй!  
 двуглавый повелитель  
 России-тюрьмы  
 и прочей тартарары,  
 царь польский,  
 князь финляндский,  
 принц эстляндский  
 и барон курляндский,  
 издавающийся  
 и днем и ночью  
 над Россией  
 крестьянской и рабочей...  
 и прочее,  
 и прочее,  
 и прочее...»  
 Десять лет  
 прошли —  
 и нет.  
 Память  
 о прошлом  
 временем грабится..  
 Головкой русея,  
 вижу,  
 детям  
 показывает шкрабца  
 комнаты  
 ревмузея.  
 — Смотрите,  
 учащие  
 чистописание и черчение,  
 вот эта бумажка —  
 царское отречение.  
 Я, мол,  
 с моим народом —  
 квиты.  
 Получите мандат  
 без всякой волокиты.  
 Как приличествует  
 его величеству,  
 подписал,  
 поставил исходящий номер —  
 и помер.  
 И пошел  
 по небесной  
 скатерти-дорожке,  
 оставив  
 бабушкам  
 ножки да рожки.

# КРЕСТЬЯНИН, ТАК ВСТРЕЧАЙ ВРАГЕЛЯ



1 КРЕСТЬЯНИН ЕСЛИ ЖАДНЬ ВРАГЕЛЯ



2 КАК С НЕБА АНГЕЛА



3 ПРИЁМНИК СКАЗКИ  
ПРО БАРСКИХ ЛАСКИ



4 ВОЗЬМЕТ



5 ПОСАДИТ



6 ПО ГОЛОВКЕ ПОПАДАЕТ



7 ПОПЬЮЩИЙ  
ЧТОБ ПЕСЕНКУ СПЕЛИ



8 И ЗЕМЛИЩЕМ НАДЕЛИТ



9 И ТЫ ЕГО ПОРАДУИ  
ПРИНИ ТАКИМ ПОРАДОУ

Плакат работы В. В. Маяковского (1920).



Железу —                    незачем  
                                 комплименты лестные.  
Тебя                    нельзя  
                                 ни славить  
                                 и ни вымести.  
Простыми словами                    говорю —  
                                 о железной  
необходимости.  
Крепче держись-ка!  
Не съестъ                    врагу.  
Солдаты                    Дзержинского  
Союз                    берегут.  
Враги                    вокруг республики рыскают.  
Не к месту слабость                    и разнеженность весенняя.  
Будут                    битвы  
                                 громше,  
                                 чем крымское !  
землетрясение.  
Есть твердолобые  
вокруг                    и внутри —  
зорче                    и в оба,  
чекист,                    смотри!  
Мы стоим                    с врагом  
                                 о скулу скула,  
и смерть стоит,                    ожидает жатвы,  
ГПУ —                    это нашей диктатуры кулак  
сжатый.  
Храни пути и речки,  
кровь                    и кров,  
бери врага,                    секретчики,  
и крой                    КРО!



Что ж в подробности вдаваться.  
шутки бросьте-ка.  
мне ж, красавица,

не двадцать, —  
тридцать...

с хвостиком.  
Любовь  
не в том,  
чтоб кипеть крутей,  
не в том,  
что жгут угольями.  
а в том,

что встает за горами грудей  
над  
волосами-джунглями.

Любить —  
это значит:  
в глубь двора

вбежать  
и до ночи грачей,  
блестя топором,  
рубить дрова,  
силой  
своей  
играючи. !

Любить —  
это с простынь,  
бессонницей рванных  
срываться,  
ревнуя к Копернику,  
его,  
а не мужа Марьи Ивановны,  
считая

своим  
соперником.

Нам  
любовь  
не рай да кущи,

нам  
любовь  
гудит про то,  
что опять  
в работу пущен  
сердца  
выставший мотор.

Вы  
к Москве  
порвали нить.

Годы —  
расстояние.

Как бы  
вам бы  
объяснить

это состояние?

На земле —  
огней — до неба...

в синем небе  
                                 звезд —  
   до чорта.  
 Если б я  
                                 поэтом пё был,  
 я бы  
                                 стал бы  
   звездочетом.  
 Поднимает площадь шум,  
 экипажи движутся,  
 я хожу,  
                                 стишки пишу  
 в записную книжицу.  
 Мчат  
                                 авто  
   по улице,  
 а не свалят наземь.  
 Понимают  
                                 умницы:  
 человек —  
   в экстазе.  
 Сонм видений  
   и идей  
 полон  
                                 до крышки.  
 Тут бы  
   и у медведей  
 выросли бы крылышки.  
 И вот  
                                 с какой-то  
   грошовой столовой,  
 когда  
                                 докипело это,  
 из зева  
                                 до звезд  
   взвывается слово  
 золоторожденной кометой.  
 Распластан  
                                 хвост  
   небесам на треть,  
 блестит  
                                 и горит оперенье его,  
 чтоб двум влюбленным  
   на звезды смотреть  
 из ихней  
                                 беседки сиреневой.  
 Чтоб подымать  
   и вести  
   и влечь,  
 которые глазом ослабли,  
 Чтоб вражки  
   головы  
   спиливать с плеч  
 хвостатой  
   сияющей саблей.



Себя  
до последнего стука в груди,  
как на свиданьи,  
простаивая,  
прислушиваюсь: любовь загудит —  
человеческая, простая.  
Ураган,  
огонь,  
вода  
подступают в ропоте.  
Кто  
сумеет  
совладать?  
Можете?  
Попробуйте...

**РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА  
О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ**

Я пролетарий.  
Объясняться лишне.  
Жил,  
как мать произвела, родив.  
И вот мне  
квартиру  
дает жилищный,  
мой  
рабочий  
кооператив.  
Во — ширина!  
Высота — во!  
Проветрена,  
освещена  
и согрета.  
Все хорошо.  
Но больше всего  
мне  
понравилось —  
это:  
это  
белее лунного света,  
удобней,  
чем земля обетованная,  
это —  
да что говорить об этом,  
это —  
ванная.  
Вода в кране —  
холодная крайне.

Кран другой  
 не тронешь рукой.  
 Можешь холодной  
 горячей — мыть хохол,  
 На кране пот пор.  
 одном  
 написано:  
 «Хол.»,  
 на кране другом — «Гор.».

Придешь усталый, вешаться хочется.  
 Ни щи не радуют, ни чая клокотание.  
 А чайкой поплещешься — и мертвый расхохочется  
 от этого плещущего щекотания.  
 Как будто пришел к социализму в гости,  
 от удовольствия — захватывает дых.  
 Брюки на крюк, блузу на гвоздик,  
 мыло в руку и... бултых!  
 Сядешь и моешься долго, долго.  
 Словом, сидишь. пока охота.  
 Просто в комнате лето и Волга, —  
 только что нету рыб и пароходов.  
 И уж распаришься, разжаришься уж!  
 Тут — вертай ручки:  
 и каплет прохладный дождик-душ  
 из дырчатой железной тучки.  
 Ну ж и ласковость в этом душе!  
 Тебя никакой не возьмет упадок:

погладит волосы,  
и течет                      потреплет уши  
                 по жолобу  
                                 промежду лопаток.  
Воду  
                 стираешь  
                         с мокрого тельца  
полотенцем,  
                         как зверь, мохнатым.  
Чтобы суше пяткам —  
                         пол  
                                 стелется,  
извиняюсь за выражение,  
                         пробковым матом.  
Себя разглядевши  
                         в зеркало вправленное,  
в рубаху  
                 в чистую  
                         влазь.  
Влажу и думаю:  
                         — Очень правильная  
эта,  
                 наша  
                         советская власть.

### **СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ**

Лошадь  
                 сказала,  
                         взглянув на верблюда:  
«Какая  
                 гигантская  
                         лошадь-ублюдок».  
Верблюд же  
                 вскричал:  
                         «Да лошадь разве ты?!  
Ты  
                 просто-напросто —  
                         верблюд недоразвитый».  
И знал лишь  
                 бог седобородый,  
что это  
                 животные  
                         разной породы.

## РАССКАЗ О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА

*К этому месту будет подвезено в пятилетку 1000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей.*

*Из разговора.*

По небу  
                  тучи бегают,  
дождями  
                  сумрак сжат,  
под старую  
                  телегою  
рабочие лежат.  
И слышит  
                  шопот гордый  
вода  
                  и под  
                  и над:  
«Через четыре  
                  года  
здесь  
                  будет  
                  город-сад!»  
Темно свинцовоночие —  
и дождик  
                  толст, как жгут;  
сидят  
                  в грязи  
                  рабочие,  
сидят,  
                  лучину жгут.  
Сливеют  
                  губы  
                  с холода,  
но губы  
                  шепчут в лад:  
«Через четыре года  
здесь  
                  будет  
                  город-сад!»  
Свела промозглость  
                  корчею —  
неважный  
                  мокр  
                  уют,  
сидят  
                  впотьмах  
                  рабочие,  
подмокший  
                  хлеб  
                  жуют.  
Но шопот  
                  громче голода, —

он кроет  
     капель  
         спад:  
 «Через четыре  
         года  
 здесь  
     будет  
         город-сад!  
 Здесь  
     взрывы закудахтают  
 в разгон  
         медвежьих банд,  
 и взроет  
         недра  
             шахтою  
 стоугольный  
         «Гигант».  
 Здесь  
     встанут  
         стройки  
             стенами.  
 Гудками  
         пар  
             сипи.  
 Мы  
     в сотню солнц  
         мартенами  
 воспламеним  
         Сибирь.  
 Здесь дом  
         дадут  
             хороший нам  
 и ситный  
         без пайка,  
 аж за Байкал  
         отброшенная  
 попятится тайга».  
 Рос  
     шопоток  
         рабочего  
 над тенью  
         тучных стад,  
 а дальше  
         неразборчиво,  
 лишь слышно —  
         «город-сад».  
 Я знаю —  
         город  
             будет  
 я знаю —  
         саду  
             цвеств,  
 когда  
         такие люди  
 в стране  
         в советской  
             есть!

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Огромные вопросы,и, огромней слоних,  
страна решает миллионнолобая.  
А сбоку ходят индивидуумы, а у них  
мнение обо всем особое.  
Смотрите, в ударных бригадах союз,  
держат темп и не ленятся,  
но индивидуум в ответ: «А я  
остаюсь  
при моем, особом мнении».  
Мы выполним пятилетку, мартены воспламеня,  
не в пять годов, а в меньше,  
но индивидуум не верит: «А у меня  
имеется, мол, особое мненьище».  
В индустриализацию льем заем,  
а индивидуум сидит в томлении  
и займа не покупает и настаивает на своем  
собственном, особенном мнении.  
Колхозим хозяйства бедняцких масс,  
кулацкой не спугнуты злобою,  
а индивидуумы шепчут: «У нас  
мнение имеется  
особое».  
Субботниками бьет рабочий мир

по неразгруженным  
 картофелям и полелям,  
 а индивидуумы  
 нам  
 заявляют:  
 «Мы  
 посидим  
 с особым мнением».  
 Не возражаю!  
 Консервируйте  
 собственный разум,  
 прикосновением  
 ничьим  
 не попортив,  
 но тех,  
 кто в работу  
 впрягся разом, —  
 не оттягивайте  
 в сторонку и напротив.  
 Трясина  
 старья  
 для нас не годна, —  
 ее  
 машиной  
 выжжем до дна.  
 Не втыкайте  
 в работу клинья, —  
 и у нас  
 и у массы  
 и мысль одна  
 и одна  
 генеральная линия.

### **ЛЮБИТЕЛИ ЗАТРУДНЕНИЙ**

Он любит шептаться,  
 хитер да тих,  
 во всех  
 городах и селеньицах:  
 «Тс-с, господа,  
 я знаю —  
 у них  
 какие-то затрудненьица».  
 В газету  
 хихикает,  
 над цифрой трунив:  
 «Переборшили,  
 замашинив денежки.  
 Тс-с, господа,  
 порадуйтесь:  
 у них  
 какие-то  
 такие затрудненьишки».

Усы  
                     закручивает,  
                                     весел и лих:  
 «У них  
                     заухудшился день еще.  
 Тс-с, господа,  
                                     подождем —  
   у них  
 теперь  
                     огромные затрудненьища». Собрав  
                     шептунов,  
                                     врунов  
   и вруних,  
 переговаривается  
                                     орава:  
 «Тс-с-с, господа, говорят,  
   у них  
 затруднения. Замечательно!  
   Браво!»  
 Затруднения одолеешь,  
                                     сбавляет тон,  
 переходит  
                                     от веселия  
   к грусти.  
 На перспективах  
                                     живо  
   наживается он —  
 он  
                     своего не упустит.  
 Своего не упустит он,  
                                     но зато  
 у другого  
                     выгрызет лишек,  
 не упустит  
                     установиться  
                                     в сто задов  
 любой  
                     из очередишек.  
 И вылезем лишь  
                                     из грязи  
   и тьмы, —  
 он первый:  
                     придет, нахален,  
 и, выпатив грудь,  
                                     раззаявит:  
   «Мы  
 аж на тракторах  
                                     пахали». Республика  
                                     одолеет  
   хозяйства несчастья,  
 догонит  
                     наган  
                                     врага.



Счищай  
с путей  
завшивевших в мешанстве,  
путающихся  
у нас  
в ногах!

## СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы  
выгрыз  
бюрократизм.  
К мандатам  
почтения нету.  
К любым  
чертям с матерями  
катись  
любая бумажка.  
Но эту...  
По длинному фронту  
купе  
и кают  
чиновник  
учтивый  
движется.  
Сдают паспорта,  
и я  
сдаю  
мою  
пурпурную книжицу.  
К одним паспортам —  
улыбка у рта.  
К другим —  
отношение плёвое.  
С почтеньем  
берут, например,  
паспорта  
с двухспальным  
английским лёвою\*.  
Глазами  
доброе дядю выеь,  
не переставая  
кланяться,  
берут,  
как будто берут чаевые,  
паспорт  
американца.  
На польский —  
глядят,  
как в афишу коза.

\* Маяковский имеет в виду английский государственный герб.



за то,  
что в руках у меня  
серпастый  
советский паспорт.  
молоткастый,

Я волком бы  
выгрыз  
бюрократизм.  
К мандатам  
почтения нету.  
К любым  
чертям с матерями  
любая бумажка.  
катись

Но эту...  
я  
достаю  
из широких штанин  
дубликатом  
бесценного груза.  
Читайте,  
завидуйте,  
я —  
гражданин  
Советского Союза.

### ПАРИЖ

(Разговорники с Эйфелевой башней \*)

Обшаркан миллионом ног.  
Ишелестен тыщей шня.  
Я борозжу Париж —  
до жути одинок,  
до жути ни лица,  
до жути ни души.  
Вокруг меня —  
авто фантастят танец,  
вокруг меня —  
из зверорыбных морд —  
еще с Людовиков  
свистит вода, фонтанясь.  
Я выхожу  
на Place de la Concorde\*\*,  
Я жду,  
пока,  
подняв резную главку,  
домовьей слежкой умаяна,  
ко мне,  
к большевику,  
на явку  
выходит Эйфелева из тумана.

\* Эйфелева башня — стальная башня высотой в 300 метров в Париже. Встроена по проекту французского инженера Эйфеля в 1889 году.

\*\* Place de la Concorde (франц.) — площадь Согласия в Париже.

— Т-ш-ш ш,  
 башня,  
 тише шлепайте! —  
 увидят!  
 Луна — гильотинная жуть.  
 Я вот что скажу  
 (пришипился в шопоте,  
 ей  
 в радиоухо  
 шепчу,  
 жужжу).  
 — Я разagitировал вещи и здания.  
 Мы —  
 только согласия вашего ждем,  
 башня —  
 хотите возглавить восстание?  
 Башня —  
 мы  
 вас выбираем вождем!  
 Не вам —  
 образцу машинного гения —  
 здесь  
 таять от аполлинеровских\* вирш.  
 Для вас  
 не место — место гниения —  
 Париж проституток,  
 поэтов,  
 бирж.  
 Метро согласились,  
 метро со мною, —  
 они  
 из своих облицованных нутр  
 публику выплюют —  
 кровью смоят  
 со стен  
 плакаты духов и пудр.  
 Они убедились —  
 не ими литься  
 вагонам богатых.  
 Они не рабы!  
 Они убедились:  
 им  
 более к лицам  
 наши афиши,  
 плакаты борьбы.  
 Башня —  
 улиц не бойтесь!  
 Если  
 метро не выпустит уличный грунт —  
 грунт  
 исполосуют рельсы.  
 Я поднимаю рельсовый Сунт.  
 Бойтесь?  
 Трактиры заступятся стаями.

---

\* Гильом Аполлинер (1881—1918) — французский поэт и критик.

Бойтесь?  
 На помощь прилет рив-гош\*.  
 Не бойтесь!  
 Я уговорился с мостами.  
 Вплавь  
 реку  
 переплыть  
 не легко ж!  
 Мосты,  
 распаясь от движения злого,  
 подымутся враз с парижских боков.  
 Мосты забунтуют  
 по первому зову —  
 прохожих ссыплют на камень быков.  
 Все вещи вздыбятся.  
 Вещам невмסготу.  
 Пройдет  
 пятнадцать лет  
 иль двадцать,  
 обдрябнет сталь,  
 и сами  
 вещи  
 тут  
 пойдут  
 Монмартрами\*\* на ночи продаваться.  
 Идемте, башня,  
 к нам!  
 Вы —  
 там,  
 у нас,  
 нужней!  
 Идемте к нам!  
 В блестящи стали,  
 в дымах —  
 мы встретим вас,  
 мы встретим вас нежней,  
 чем первые любимые любимых.  
 Идем в Москву!  
 У нас  
 в Москве  
 простор.  
 Вы  
 — каждой! —  
 будете по улице иметь.  
 Мы  
 будем холить вас:  
 раз сто  
 за день  
 до солнц расчистим вашу сталь и медь.  
 Пусть  
 город ваш,  
 Париж франтих п дур,

\* Рив-гош — левый берег, демократическая часть Парижа. (Примеч. Маяковского.)

\*\* Монмартр — квартал в Париже, населенный студентами, молодыми художниками; на Монмартре много увеселительных заведений.

Париж бульварных ротозеев,  
кончается один, в сплошной складбищась Лувр \*,  
в старье лесов Булонских \*\* и музеев.  
Вперед,  
шагни четверкой мощных лап,  
прибитых чертежами Эйфеля,  
чтоб в нашем небе твой израдило лоб,  
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!  
Решайтесь, башня, —  
нынче же вставайте все,  
разворотив Париж с верхушки и до низу!  
Идемте!  
К нам!  
К нам, в СССР!  
Идемте к нам —  
я  
вам достану визу!

## ГОРОД

Один Париж —  
адвокатов,  
казарм,  
другой —  
без казарм и без Эррио.  
Не оторвать  
от второго  
глаза —  
От этого города серого.  
Со стен обещают:  
«Un verre de Koto  
donne de l'énergie» \*\*\*.  
Вином любви  
каким  
и кто  
мою взбудоражит жизнь?  
Может,  
критики  
знают лучше,  
может,  
их  
и слушать надо.  
Но кому я, к чорту, попутчик?  
Ни души  
не шагает рядом.  
Как раньше,  
свой  
раскачивай горб  
впереди  
поэтовых арб —

\* Лувр — старинный дворец в Париже; ныне музей живописи и скульптуры.

\*\* Булонский лес — парк в Париже. (Примеч. Маяковского.)

\*\*\* «Стакан Кото вливает энергию» — реклама напитка.

неси  
     одни  
         и радость,  
                 и скорбь,  
 и прочий  
         людовой скорбь.  
 Мне скучно  
         здесь  
                 одному  
                         впереди —  
 поэту  
         не надо многого, —  
 пусть  
         только  
                 время  
                         скорей родит  
 такого, как я,  
                 быстроногого.  
 Мы рядом  
         пойдем  
                 дорожной пылью.  
 Одно  
         желанье  
                 пучит:  
 мне скучно,  
         желаю  
                 видеть в лицо,  
 кому это  
         я  
                 попутчик?!  
 «Je suis un chameau»  
                 в плакате стоят  
 литеры —  
         каждая фут.  
 Совершенно верно, —  
         «je suis» это  
                         «я»,  
 а «chameau»  
         это —  
                 «я верблюд».  
 Лиловая туча,  
         скорей нагнись,  
 меня  
         и Париж полей,  
 чтоб только  
         скорей  
                 зацвели огни  
 длинной  
         Елисейских Полей!  
 Во все огнь —  
                 и небу в темь,  
 и в чернь промокшей пыли.  
 В огне,  
         жуками  
                 всех систем,  
 жужжат  
         автомобили,

Горит вода,  
                                 земля горит,  
 горит  
                 асфальт  
                                 до жжения,  
 как будто  
                                 зубрят  
   фонари  
 таблицу  
                                 умножения.  
 Площадь  
                                 красивей  
   и тысяч  
   дам-болонок.  
 Эта площадь  
                                 оправдала б  
   каждый город.  
 Если б был я  
                                 Вандомская колонна\*,  
 я б женился  
                                 на Place de la Concorde.

### **АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН**

Испанский камень  
                                 слепащ и бел,  
 а стены  
                                 зубьями пил.  
 Пароход  
                                 до двенадцати  
   уголь ел  
 и пресную воду пил.  
 Повел  
                                 пароход  
   окованным носом  
 и в час,  
 сопя,  
                                 вобрал якоря  
   и понесся.  
 Европа  
                                 скрылась, мельчась  
 Бегут  
                                 по бортам  
   водяные глыбы,  
 огромные  
                                 как года.  
 Надо мною птицы,  
   подо мною рыбы,  
 а кругом —  
                                 вода.  
 Недели  
                                 грудью своей атлетической —

---

\* Вандомская колонна — монумент в Париже, поставленный в 1806 году в честь побед Наполеона I.



то работага,  
то в стельку пьян —  
вздыхает  
и гремит  
Атлантический  
океан.  
«Мне бы, братцы,  
к Сахаре подобраться...  
Развернись и плюнь —  
пароход внизу.  
Хочу теплою,  
хочу везу.  
Выходи сухой —  
сварю ухой.  
Людей не надо нам —  
малы к обеду.  
Не трону,  
ладно,  
пускай едут...»  
Волны  
будоражить мастера —  
детство выплеснут;  
другому —  
голос милой.  
Ну, а мне б  
опять  
знамена простираť.  
Вон пошлѡ,  
затарachtело,  
загромило.  
И снова  
вода  
присмирела сквозная,  
и нет  
никаких сомнений ни в ком.  
И вдруг  
откуда-то —  
чорт его знает! —  
встает  
из глубин  
водный чий Ревком.  
И гвардия капель —  
воды партизаны —  
взбираются  
ввысь  
с океанского рва,  
до неба метнутся  
и падают заново,  
порфиру пены в клочки изодрав.  
И снова  
спаялись воды в одно,  
волне  
повелев  
разбурлиться вождем

и прет болища  
с-под тучи  
на дно —  
приказы  
и лозунги  
сыплет дождем.  
И волны  
клянутся  
всеводному Цику  
оружие бурь  
до победы не класть.  
И вот победили —  
экватору в циркуль  
Светов капель бескрайняя власть.  
Последних волн небольшие митинги  
шумят  
о чем-то  
в возвышенном стиле,  
и вот  
океан  
улыбнулся умытенький  
и замер  
на время  
в покое и в штиле.  
Смотрю за перила.  
Старайтесь, приятели!  
Под трапом,  
нависшим  
ажурным мостком,  
при океанском предприятии  
потеет  
над чем-то  
волновий местком.  
И под водой  
деловито и тихо  
дворцом  
растет  
кораллов плетенка,  
чтоб легче жилось  
трудоу китихе  
с рабочим китом  
и дошкольным китенком.  
Уже  
и луну  
положили дорожкой,  
хоть прямо  
на пузе,  
как по суху, лазь.  
Но враг не сунется —  
в небо  
сторожко  
глядит,  
не сморгнув,  
Атлантический глаз.  
То стынешь  
в блеске лунного лака,

то стонешь,  
                    облитый пеною ран.  
Смотрю,  
                    смотрю —  
                    и всегда одинаков,  
любим,  
                    близок мне океан.  
Вовек  
                    твой грохот  
                    удержит ухо.  
В глаза  
                    тебя  
                    опрокинуть рад.  
По шири,  
                    по делу,  
                    по крови,  
                    по духу —  
моей революции  
                    старший брат.

### ТРОПИКИ

(ДОРОГА ВЕРА-КРУЦ—МЕХИКО-СИТИ)

Смотрю:  
                    вот это —  
                    тропики.  
Всю жизнь  
                    вдыхаю наново я.  
А поезд  
                    прет торопкий  
сквозь пальмы,  
                    сквозь банановые.  
Их силуэты-веники  
встанут рисунком тошненьким:  
не то они — священники,  
не то они — художники.  
  
Аж сам  
                    не веришь факту:  
из всей бузы и вара  
встает  
                    растение — кактус  
трубой от самовара.  
А птички в этой печке  
красивей всякой меры.  
По смыслу —  
                    воробейчики,  
а видом  
                    шантеклеры\*.  
Но прежде чем  
                    осмыслил лес

\* Шантеклер (франц. *chante-clair*) — сказочный петух с радужным оперением.

и бред,  
и жар,  
и день я —  
и день  
и лес исчез  
без вечера  
и без  
предупреждения.  
Где горизонта борозда?!  
Все линии  
потеряны.  
Скажи,  
которая звезда  
и где  
глаза пантерины?  
Не считал бы  
лучший казначей  
звезд  
тропических ночей,  
настолько  
ночи августа  
звездой набиты  
нагусто.  
Смотрю:  
ни зги, ни тропки.  
Всю жизнь  
вдыхаю наново я.  
А поезд прет  
сквозь тропики,  
сквозь запахи  
банановые.

### **БРУКЛИНСКИЙ МОСТ\***

Издай, Кулидж,  
радостный клич!  
На хорошее  
и мне не жалко слов.  
От похвал  
красней,  
как флага нашего материйка,  
хоть вы  
и разьюнайтед стетс  
оф  
Америка\*\*.  
Как в церковь  
идет  
помешавшийся верующий,  
как в скит  
удаляется,  
строг и прост, —

\* Бруклинский мост — в Нью-Йорке один из самых больших подвесных мостов.

\*\* Юнайтед Стетс оф Америка — Соединенные штаты Америки.

так я  
     в вечерней  
         сереющей мерени  
 вхожу,  
     смиранный, на Бруклинский мост.  
 Как в город  
     в сломанный  
         прет победитель  
 на пушках — жерлом  
         жирафу под рост —  
 так, пьяный славой,  
         так жить в аппетите  
 влезаю,  
     гордый,  
         на Бруклинский мост.  
 Как глупый художник  
         в мадонну музея  
 вонзает глаз свой,  
         влюблен и остр,  
 так я,  
     с поднебесья  
         в звезды усеян,  
 смотрю  
     на Нью-Йорк  
         сквозь Бруклинский мост.  
 Нью-Йорк  
     до вечера тяжек  
         и душен,  
 забыл,  
     что тяжело ему  
         и высоко,  
 и только одни  
         домовьи души  
 встают  
     в прозрачном свечении окон.  
 Здесь  
     еле зудит  
         элевейтеров зуд.  
 И только  
     по этому  
         тихому зуду  
 поймешь —  
     поездá  
         с дребезжаньем ползут,  
 как будто  
     в буфет убирают посуду.  
 Когда ж,  
     казалось, с-под речки пачатой  
 развозит  
     с фабрики  
         сахар лавочник, —  
 то  
     под мостом проходящие мачты  
 размером  
     не больше размеров булавочных.

Я горд  
                   вот этой  
                                 стальной милей,  
 живьем в ней  
                   мон видения встали —  
 борьба  
                   за конструкции  
                                 вместо стилей,  
 расчет суровый  
                   гаек  
                                 и стали.  
 Если  
                   придет  
                                 окончание света —  
 планету  
                   хаос  
                                 разделает в лоск,  
 и только  
                   один останется  
                                 этот  
 над пылью гибели вздыбленный мост,  
 то,  
                   как из косточек,  
                                 тоньше иголок,  
 тучнеют  
                   в музеях стоящие  
                                 ящеры,  
 так  
                   с этим мостом  
                                 столетий геолог  
 сумел  
                   воссоздать бы  
                                 дни настоящие.  
 Он скажет:  
                   — Вот эта  
                                 стальная лапа  
 соединяла  
                   моря и прерии,  
 отсюда  
                   Европа  
                                 рвалась на Запад.  
 пустив „  
                   по ветру  
                                 индейские перья.  
 Напомнит  
                   машину  
                                 ребро вот это —  
 сообразите,  
                   хватит рук ли,  
 чтоб, став  
                   стальной ногой  
                                 на Мангёттен\*,  
 и себе  
                   за губу  
                                 притягивать Бруклин?

\* Мангёттен — остров, на котором расположена главная часть Нью-Йорка.

По проводам электрической пряди —  
 и знаю — эпоха  
 после пара —  
 здесь люди  
 уже орали по радио,  
 здесь люди  
 уже взлетели по аэро.  
 Здесь жизнь  
 была одним — беззаботная,  
 другим — голодный  
 протяжный вой.  
 Отсюда безработные  
 в Гудзон  
 кидались  
 вниз головой.  
 И дальше картина моя  
 без загвоздки  
 по струнам-канатам,  
 аж звездам к ногам.  
 Я вижу — здесь  
 стоял Маяковский,  
 стоял и стихи слагал по слогам. —  
 Смотрю,  
 как в поезд глядит эскимос,  
 вливаюсь,  
 как в ухо вливается клещ.  
 Бруклинский мост —  
 да...  
 Это вещь!

### *домой:*

Уходите, мысли, во-свояси.  
 Обнимись,  
 души и моря глубь.  
 Тот,  
 кто постоянно ясен —  
 тот,  
 по-моему,  
 просто глуп.  
 Я в худшей каюте  
 из всех кают —

всю ночь надо мною  
 ногами куют.  
 Всю ночь,  
 покой потолка возмутив,  
 несется тапец,  
 стонет мотив:  
 «Маркита,  
 Маркита,  
 Маркита моя,  
 зачем ты,  
 Маркита,  
 не любишь меня...»  
 А зачем  
 любить меня Марките?!  
 У меня  
 и франков даже нет.  
 А Маркиту  
 (толечко моргните!)  
 за сто франков  
 препроводят в кабинет.  
 Небольшие деньги —  
 поживи для шику —  
 нет,  
 интеллигент,  
 взбивая грязь вихров,  
 будешь всучивать ей  
 швейную машинку,  
 по стежкам  
 строчашую  
 шелка стихов.  
 Пролетарии  
 приходят к коммунизму  
 низом —  
 низом шахт,  
 серпов  
 и вил, —  
 я ж  
 с небес поэзии  
 бросаюсь в коммунизм,  
 потому что  
 нет мне  
 без него любви.  
 Все равно —  
 сослался сам я  
 или послан к маме —  
 слов ржавеет сталь,  
 чернеет баса медь.  
 Почему  
 под иностранными дождями  
 вымокать мне,  
 гнить мне  
 и ржаветь?  
 Вот лежу,  
 усхавший за воды,



Я хочу чтоб к ширинке прирост  
 или черо  
 с ширины чтоб  
 и с введением срани  
 о работе срани  
 от коню бюро  
 перед судом  
 складывая срани  
 В. В. Маяковский

Автограф В. В. Маяковского.

ленью  
 еле двигаю  
 моей машины части.  
 Я себя  
 советским чувствую  
 заводом,  
 вырабатывающим счастье.  
 Не хочу,  
 чтоб меня, как цветочек с полян,  
 рвали  
 после служебных тягот.  
 Я хочу,  
 чтоб в дебатах  
 потел Госплан,  
 мне давая  
 задания на год.  
 Я хочу,  
 чтоб над мыслью  
 времен комиссар  
 с приказанием нависал.

Я хочу,  
     чтоб сверх-ставками спеца  
 получало  
     любовищу сердце.  
 Я хочу,  
     чтоб в конце работы  
                                 завком  
 запирал мои губы  
                                 замком.  
 Я хочу,  
     чтоб к штыку  
                                 приравняли перо.  
 С чугуном чтоб  
     и с выделкой стали  
 о работе стихов,  
     от Политбюро,  
 чтобы делал  
     доклады Сталин.  
 «Так, мол,  
     и так...  
                                 И до самых верхов  
 прошли  
     из рабочих нор мы:  
 в Союзе  
     Республик  
                                 пониманье стихов  
 выше  
     довоенной нормы...»

### ПОЭТ — РАБОЧИЙ

Срут поэту:  
 «Посмотреть бы тебя у токарного станка.  
 А что стихи?  
 Пустое это!  
 Небось, работать — кишка тонка».  
 Может быть,  
 нам  
 труд  
 всяких занятий роднее.  
 Я тоже фабрика.  
 А если без труб,  
 то, может,  
 мне  
 без труб труднее.  
 Знаю —  
 не любите праздных фраз вы.  
 Рубите дуб — работать дабы.  
 А мы  
 не дерево обделочники разве?  
 Голов людских обделываем дубы.  
 Конечно,  
 почтенная вещь — рыбачить.  
 Вытащить сеть.

В сетях — осетры б!  
 Но труд поэтов — почтенный паче —  
 людей живых ловить, а не рыб.  
 Огромный труд — гореть над горном,  
 железа шипящие класть в закал.  
 Но кто же  
 в бездельи бросит укор нам?  
 Мозги шлифуем рашилем языка.  
 Кто выше — поэт  
 или техник,  
 который  
 ведет людей к вещественной выгоде?  
 Оба.  
 Сердца — такие ж моторы.  
 Душа — такой же хитрый двигатель.  
 Мы равные.  
 Товарищи в рабочей массе.  
 Пролетарии тела и духа.  
 Лишь вместе  
 вселенную мы разукрасим  
 и маршами пустим ухать.  
 Отгородимся от бурь словесных молотом.  
 К делу!  
 Работа жива и нова.  
 А праздных ораторов —  
 на мельницу!  
 К мукомолам!  
 Водой речей вертеть жернова.

### ЮБИЛЕЙНОЕ\*

Александр Сергеевич,

*разрешите представиться —*

*Маяковский.*

Дайте руку!

Вот грудная клетка.

Слушайте,

уже не стук, а стон;

тревожусь я о нем,

в щенка смиренном львенке.

Я никогда не знал,

что столько

тысяч тонн

в моей

позорно легкомыслной головенке.

Я тащу вас.

Удивляетесь, конечно?

Стиснул?

Больно?

Извините, дорогой.

У меня,

да и у вас

в запасе вечность.

\* Написано в 1924 году, к 125-летию со дня рождения Пушкина.

Что нам  
                     потерять  
                                 часок-другой?!  
 Будто бы вода —  
                     давайте  
                                 мчать болтая,  
 будто бы весна —  
                     свободно:  
                                 и раскованно!  
 В небе вон  
                     луна  
                                 такая молодая,  
 что ее  
                     без спутников  
                                 и выпускать рискованно.  
 Я  
             теперь  
                     свободен  
                                 от любви  
   и от плакатов.  
 Шкурой  
                     ревности медведь  
                                 лежит когтист.  
 Можно  
                     убедиться,  
                                 что земля поката, —  
 сядь  
                     на собственные ягодицы  
                                 и катись!  
 Нет,  
             не навяжусь в меланхолишке черной,  
 да и разговаривать не хочется  
                                 ни с кем.  
 Только  
                     жабры рифы  
                                 топырит учащённо  
 у таких, как мы,  
                     на поэтическом песке.  
 Вред — мечта,  
                     и бесполезно грезить,  
 надо  
                     весть  
                                 служебную нуду.  
 Но бывает —  
                     жизнь  
                                 встает в другом разрезе,  
 и большое  
                     понимаешь  
                                 через ерунду.  
 Нами  
                     лирика  
                                 в штыки  
   неоднократно атакована,  
 ищем речи  
                     точной  
                                 и нагой.

Но поэзия — пресволочнейшая штукавина:  
 существует — и ни в зуб ногой.  
 Например, вот это — говорится или блеется?  
 Синемордое, в оранжевых усах,  
 Навуходовосором библейцем —  
 «Коопсах»\*,  
 Дайте нам стаканы! знаю способ старый  
 в горе дуть випище, но смотрите — из  
 выплывают Red и White Star'ы\*\*  
 с ворохом разнообразных виз.  
 Мне приятно с вами, — рад, что вы у столика.  
 Муза это ловко за язык вас тянет.  
 Как это у вас говоривала Ольга?..  
 Да не Ольга! из письма Онегина к Татьяне.  
 — Дескать, муж у вас дурак и старый мерин,  
 я люблю вас, будьте обязательно моя,  
 я сейчас же утром должен быть уверен,  
 что с вами днем увижусь я. —  
 Было всякое: и под окном стояние,  
 письма, тряски нервное желе.  
 Вот когда и горевать не в состоянии —

\* «Коопсах» — сокращенное название кооператива сахарной промышленности. Выпаси Коопсах были синие, с оранжевыми лучами; среди оранжевых лучей красноватая сахарная голова.

\*\* «Красная и Белая звезда» — названия трансатлантических паромных компаний.

это, Александр Сергееч,  
 много тяжелей.  
 Айда, Маяковский!  
 Маячь на юг!  
 Сердце  
 рифмами вымучь —  
 вот  
 и любви пришел каюк,  
 дорогой Владим Владимыч.  
 Нет,  
 не старость этому ния!  
 Тушу  
 вперед стремя,  
 я  
 с удовольствием  
 справлюсь с двоими,  
 а разозлить —  
 и с тремя.  
 Говорят —  
 я темой и-н-д-н-в-и-д-у-а-л-е-н!  
 Entre nous... \*  
 чтоб цензор не нацикал.  
 Передам вам —  
 говорят —  
 видали  
 даже  
 двух  
 влюбленных членов ВЦИКа.  
 Вот —  
 пустили сплетню,  
 тешат душу ею.  
 Александр Сергееч,  
 да не слушайте ж вы нх!  
 Может,  
 я  
 один  
 действительно жалею,  
 что сегодня  
 нету вас в живых.  
 Мне  
 при жизни  
 с вами  
 сговориться б надо.  
 Скоро вот  
 и я  
 умру  
 и буду нем.  
 После смерти  
 нам  
 стоять почти что рядом:  
 вы на Пе,  
 а я  
 на эМ.

\* *Entre nous* (франц.) — между нами.

Кто меж нами? С кем велите знаться?!  
 Чересчур страна моя поэтами нища.  
 Между нами — вот беда — позатесался Нэдсон.  
 Мы попросим, чтоб его куда-нибудь на Ща!  
 А Некрасов Коля, сын покойного Алеши —  
 он и в карты, он и в стих, и так неплох на вид.  
 Знаете его? вот он мужик хороший.  
 Этот нам компания — пускай стоит.  
 Что ж о современниках?!  
 Не просчитались бы, за вас полсотни отдав.  
 От зевоты скулы разворачивает аж!  
 Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов —  
 какой однаобразный \* пейзаж!  
 Ну Есенин, мужиковствующих свора.  
 Смех! Коровую в перчатках лаечных.  
 Раз послушаешь... но это ведь из хора!  
 Балалаечник!  
 Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак.  
 Мы крепки, как спирт в полтавском штофе.  
 Ну, а что вот Безыменский?!  
 Так...

\* «О д н а р о б р а з н ы й» — словообразование Маяковского, сочетание слов «однобразный» и «паробраз» (Отдел народного образования).

ничего... морковный кофе.  
 Правда, есть у нас Асеев  
 Колька.  
 Этот может. Хватка у него  
 моя.  
 Но ведь надо заработать сколько!  
 Маленькая, но семья.  
 Были б живы — стали бы  
 по Лефу соредактор.  
 Я бы и агитки  
 вам доверить мог.  
 Раз бы показал:  
 — вот так-то, мол, и так-то...  
 Вы б смогли — у вас  
 хороший слог.  
 Я дал бы вам жиркость  
 и сукна,  
 в рекламу б выдал  
 гумских дам.  
 (Я даже ямбом подсюсюкнул,  
 чтоб только быть  
 приятней вам.)  
 Вам теперь пришлось бы  
 бросить ямб картавый.  
 Нынче паши перья —  
 штык  
 да зубья вил, —  
 битвы революций посерьезнее «Полтавы»,  
 и любовь пограндиознее  
 онегинской любви.  
 Бойтесь пушкинистов. Старомозгий Плюшкин,  
 перышко держа, полезет  
 с перержавленным.



— Тоже, мол,  
                                 у лефтов  
   появился  
   Пушкин.  
 Вот арап!                   А состязается —  
   с Державиным... —  
 Я люблю вас,  
                                 но живого,  
   а не мумию.  
 Навели  
                         хрестоматийный глянец.  
 Вы,  
         по-моему,  
                         при жизни  
   — думаю —  
 тоже бушевали.  
                                 Африканец!  
 Сукин сын Дантес!  
                                 Великосветский шкода.  
 Мы б его спросили:  
                                 — А ваши кто родители?  
 Чем вы занимались —  
   до 17-го года? —  
 Только этого Дантеса бы и видели.  
 Впрочем,  
                         что ж болтанье!  
   Спиритизма вроде.  
 Так сказать,  
                         невольник чести...  
   пулюю сражен...  
 Их  
         и по сегодня  
                                 много ходит —  
 всяческих  
                         охотников  
   до наших жен.  
 Хорошо у нас  
                         в Стране Советов.  
 Можно жить,  
                         работать можно дружно.  
 Только вот  
                         поэтов,  
   к сожалению, нету, —  
 впрочем, может,  
                         это и не нужно.  
 Ну, пора:  
                         рассвет  
   лучища выкалил.  
 Как бы  
                         милиционер  
   разыскивать не стал.  
 На Тверском бульваре  
   очень к вам привыкли.

Ну, давайте  
                                подсажу  
  на пьедестал.  
Мне бы  
                                памятник при жизни  
  полагается по чину.  
Заложил бы  
                                динамиту  
  — ну-ка,  
  дрызны!  
Ненавижу  
                                всяческую мертвечину!  
Обожаю  
                                всяческую жизнь!

### **РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ**

Гражданин фининспектор!  
                                Простите за беспокойство.  
Спасибо...  
                                не тревожьтесь...  
  я постою...  
У меня к вам  
                                дело  
  деликатного свойства:  
о месте  
                                поэта  
  в рабочем строю.  
В ряду  
                                имеющих  
  лабазы и уголья  
и я обложен  
                                и должен караться.  
Вы требуете  
                                с меня  
  пятьсот в полугодие  
и двадцать пять  
                                за неподачу деклараций.  
Труд мой  
                                любому  
  труду  
  родствен.  
Взгляните —  
                                сколько я потерял,  
какие  
                                издержки  
  в моем производстве  
и сколько тратится  
                                на материал.  
Вам,  
                                конечно, известно  
  явление «рифмы».

Скажем,  
                     строчка  
                                     окончилась словом  
   «отца»,  
 и тогда  
                     через строчку,  
                                     слога повторив, мы  
 ставим  
                     какое-нибудь  
                                     «ламцадрица-цй».  
 Говоря по-вашему,  
                                     рифма —  
   вексель.  
 Учесть через строчку! —  
                                     вот распоряжение.  
 И ищешь  
                     мелочишку суффиксов и флексий  
 в пустующей кассе  
                                     склонений  
   и спряжений.  
 Начнешь это  
                     слово  
                                     в строчку всозывать,  
 а оно не лезет —  
                                     нажал и сломал.  
 Гражданин фининспектор,  
                                     честное слово,  
 поэту  
                     в копеечку влетают слова.  
 Говоря по-нашему,  
                                     рифма —  
   бочка.  
 Бочка с динамитом.  
                                     Строчка —  
   фитиль.  
 Строка додымит,  
                                     взрывается строчка, —  
 и город  
                     на воздух  
                                     строфой летит.  
 Где найдешь,  
                     на какой тариф,  
 рифмы,  
                     чтоб враз убивали, нацелясь?  
 Может,  
                     пяток  
                                     небывалых рифм  
 только и остался  
                                     что в Венецуэле.  
 И тянет  
                     меня  
                                     в холода и в зной.  
 Бросаюсь,  
                     опутан в авансы и в займы я.  
 Гражданин,  
                     учтите билет проездной!

— Поэзия — вся! —  
езда в неизвестное.

Поэзия — та же добыча радия.  
В грамм добыча, в год труды.  
Изводишь, елиного слова ради,  
тысячи тонн словесной руды.

Но как испепеляюще  
слов этих жжение  
рядом с тлением  
слова-сырца.

Эти слова приводят в движение  
тысячи лет миллионов сердца.

Конечно, различны поэтов сорта.  
У скольких поэтов  
легкость руки!

Тянет, как фокусник,  
строчку изо рта  
и у себя и у других.

Что говорить о лирических кастратах?  
Строчку чужую  
вставит и рад.

Это обычное  
воровство и растрата  
среди охвативших страну растрат.  
Эти сегодня  
стихи и оды,  
в аплодисментах ревомые ревя,  
войдут в историю  
как накладные расходы  
на сделанное нами —  
двумя или тремя.

Пуд, как говорится,  
соля столовой  
съешь  
и сотней папирос клуби,

чтобы добыть драгоценное слово  
 из артезианских людских глубин.  
 И сразу ниже налога рост.  
 Скиньте с обложенья нуля колесо!  
 Рубль девяносто сотня папирос,  
 рубль шестьдесят столовая соль.  
 В вашей анкете вопросов масса:  
 — Были выезды? Или выездов нет?  
 А что, если я десяток пегасов  
 загнал за последние 15 лет?!  
 У вас — в мое положение войдите —  
 про слуг и имущество с этого угла.  
 А что, если я народа водитель  
 и одновременно — народный слуга?  
 Класс гласит из слова из нашего,  
 а мы, пролетарии, двигатели пера.  
 Машину души с годами изнашиваешь.  
 Говорят: — в архив, исписался, пора! —  
 Все меньше любитися, все меньше дерзается,  
 и лоб мой время с разбега крушит.  
 Приходит страшнейшая из амортизаций —

амортизация сердца и души.  
 И когда это солнце,  
 взойдет разжиревшим боровом,  
 над грядущим без нищих и калек, —  
 Я уже  
 сгнию, умерший под забором,  
 рядом с десятком моих коллег.  
 Подведите мой посмертный баланс!  
 Я утверждаю и — знаю — не налгу:  
 на фоне сегодняшних дельцов и пролаз  
 я буду — один! — в непролазном долгу.  
 Долг наш — реветь медногорлой сиреной  
 в тумане мещанья, у бурь в кипеньи.  
 Поэт всегда должник вселенной,  
 платящий на горе проценты и пени.  
 Я в долгу перед Бродвейской лампионией,  
 перед вами, багдадские небеса,  
 перед Красной Армией, перед вишнями Японии —  
 перед всем, про что не успел написать.  
 А зачем вообще эта шапка Сене?  
 Чтобы — целясь рифмой и ритмом ярьсь?  
 Слово поэта — ваше воскресенье,

ваше бессмертие,  
 гражданин канцелярист.  
 Через столетья  
 в бумажной раме  
 возьми строку  
 и время верни!  
 И встанет  
 день этот  
 с фининспекторами,  
 с блеском чудес  
 и с вонью чернил.  
 Сегодняшних дней убежденный житель,  
 выправьте  
 в энкапез  
 на бессмертье билет  
 и, высчитав  
 действие стихов,  
 разложите  
 заработок мой  
 на триста лет.  
 Но сила поэта  
 не только в этом,  
 что, вас  
 вспоминая,  
 в грядущем икнут.  
 Нет!  
 И сегодня  
 рифма поэта —  
 ласка  
 и лозунг,  
 и штык,  
 и кнут.  
 Гражданин фининспектор,  
 я выплачу пять,  
 все  
 нули  
 у цифры скрестя!  
 Я  
 по праву  
 требую пядь  
 в ряду  
 беднейших  
 рабочих и крестьян.  
 А если  
 вам кажется,  
 что всего делов —  
 это пользоваться  
 чужими словесами,  
 то вот вам,  
 товарищи,  
 мое стилё,  
 и можете  
 писать  
 сами!

## ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Товарищи,  
                    позвольте  
                                без позы,  
  без маски —  
как старший товарищ,  
                                неглупый и чуткий,  
поразговариваю с вами,  
                                товарищ Безыменский,  
товарищ Светлов,  
                                товарищ Уткин.  
Мы спорим,  
                    аж глотки просят лужения,  
мы  
                    задыхаемся  
                                от эстрадных побед,  
а у меня к вам, товарищи,  
                                деловое предложение:  
давайте  
                    устроим  
                                веселый обед!  
Расстелим внизу  
                                комплименты ковровые,  
если зуб на кого —  
                                отпилим зуб;  
розданные  
                                Луначарским  
  венки лавровые —  
сложим  
                    в общий  
                                товарищеский суп.  
Решим,  
                    что все  
                                по-своему правы.  
Каждый пост  
                                по своему  
  голоску!  
Разрежем  
                    общую курицу славы  
и каждому  
                                выдадим  
  по равному куску.  
Бросим  
                    друг другу  
                                шпильки подсовывать,  
разведем  
                    изысканный  
                                словесный ажур.  
А когда мне  
                    товарищи  
                                предоставят слово, —  
я это слово возьму  
                                и скажу:





*И. Репин и К. Чуковский. Шарж В. В. Маяковского.*

— Я кажусь вам  
академиком  
с большим задом,  
один, мол, я  
жрец  
поэзий непролазных.  
А мне  
в действительности  
единственное надо —  
чтоб больше поэтов  
хороших  
и разных.  
Многие  
пользуются  
напóстовской тряскою,  
с тем  
чтоб себя  
обозвать получше.  
— Мы, мол, единственные,  
мы пролетарские... —  
А я, по-вашему, что —  
валютчик?  
Я  
по существу  
мастеровой, братцы,  
не люблю я  
этой  
философии нудовой.



Одного  
                   называют  
                                   красным Байроном,  
 другого —  
                   самым красным Гейнем.  
 Одного боюсь —  
                                   за вас и сам, —  
 чтоб не обмелели  
                                   наши души,  
 чтоб мы  
                   не возвели  
                                   в коммунистический сан  
 плоскость раешников  
                                   и ерунду частушек.  
 Мы духом одно,  
                                   понимаете сами:  
 по линии сердца  
                                   нет раздела.  
 Если  
                   вы не за нас,  
                                   а мы  
   не с вами  
 то чорта ль  
                                   пам  
   остается делать?  
 А если я  
                   вас  
                                   когда-нибудь крою  
 в на вас  
                   замахивается  
                                   перо-рука,  
 то я, как говорится,  
                                   добыл это кровью,  
 я  
           больше вашего  
                                   рифмы строгал.  
 Товарищи,  
                   бросим  
                                   замашки торгашьи  
 — моя, мол, поэзия —  
                                   мой лабаз! —  
 все, что я сделал,  
                                   все это ваше —  
 рифмы,  
                   темы,  
                                   дикция,  
   бас!  
 Что может быть  
                                   капризней славы  
   и пепельней?  
 В гроб, что ли,  
                                   брать,  
   когда умру?  
 Наплевать мне, товарищи,  
                                   в высшей степени

на деньги,  
                     на славу  
                             и на прочую муру!  
 Чем нам  
                     делить  
                             поэтическую власть,  
 сгрудим  
                     нежность слов  
                                     и слова-бичи,  
 и давайте  
                     без ааинстей  
                                     и без фамилий  
   класть  
 в коммунову стройку  
                             слова-кирпичи.  
 Давайте,  
                     товарищи,  
                             шагать в ногу.  
 Нам не надо  
                     брюзжащего  
                                     лысого парика!  
 А ругаться захочется —  
                             врагов много  
 по другую сторону  
                     красных баррикад.

### **МЫ НЕ ВЕРИМ!**

Тенью истемня весенний день,  
 выклеен правительственный бюллетень.  
 Нет!  
                     Не надо!  
                             Разве молнии велишь  
   не литься?  
 Нет!  
                     не оковать язык грозы!  
 Вечно будет  
                     тысячестраничный  
 грохотать  
                     набатный  
                                     ленинский язык.  
 Разве гром бывает немостою болен?!  
 Разве сдержишь смерч,  
                             чтоб вихрем не кипел?!  
 Нет!  
                     не ослабеет ленинская воля  
 в миллионносильной воле РКП.  
 Разве жар  
                     такой  
                             термометрами меряется?  
 Разве пульс  
                     такой  
                             секундами гудит?!  
 Вечно будет ленинское сердце

клохотать  
у революции в груди. •  
Нет!  
нет!  
не-е-т...  
На хотим,  
не верим в белый бюллетень.  
С глаз весенних  
сгинь, навязчивая тень!

## РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Грудой дел,  
суматохой явлений  
день отошел,  
постепенно стемнев.  
Двое в комнате:  
я  
и Ленин —  
фотографией  
на белой стене.  
Рот открыт  
в напряженной речи,  
усов  
щетинка  
вздернулась ввысь,  
в складках лба  
зажата  
человечья,  
в огромный лоб  
огромная мысль.  
Должно быть,  
под ним  
проходят тысячи...  
Лес флагов...  
рук трава...  
Я встал со стула.  
радостью высвечен, —  
хочется  
итти,  
приветствовать,  
рапортовать!  
«Товарищ Ленин,  
я вам докладываю  
не по службе,  
а по душе.  
Товарищ Ленин,  
работа адская  
будет  
сделана  
и делается уже.  
Освещаем,  
одеваем нищ и бголь,

ширится  
                     добыча  
                                 угля и руды.  
 А рядом с этим,  
                                 копешно,  
   много,  
 много  
                     разной  
                                 дряни и ерунды.  
 Устаешь  
                     отбиваться и отгрызаться.  
 Многие  
                     без вас  
                                 отбились от рук.  
 Очень  
                     много  
                                 разных мерзавцев  
 ходят  
                     по нашей земле  
   и вокруг.  
 Нету  
                     им  
                                 ни числа,  
   ни клички,  
 целая  
                     лента типов  
   тянется.  
 Кулаки и волокиччики,  
 подхалимы,  
                                 сектанты  
   и пьяницы, —  
 ходят,  
                     гордо  
                                 выпятив груди,  
 в ручках сплошь  
   и в значках нагрудных.  
 Мы их  
                     всех,  
                                 конешно, скрутим,  
 но всех  
                     скрутить  
                                 ужасно трудно.  
 Товарищ Ленин,  
                                 по фабрикам дымным,  
 по землям,  
                     покрытым  
   и снегом  
   и жнивьем,  
 вашим,  
                     товарищ,  
                                 сердцем  
   и именем  
 думаем,  
                     дышим,  
                                 боремся  
   и живем!

Грудой дел,  
                                суматохой явлений  
день отошел,  
                                постепенно стемнев.  
Двое в комнате:  
                                я  
                                и Ленин —  
фотографией  
                                на белой стене.

*Российской Коммунистической Партии посвящен*  
**ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН**  
(Из поэмы)

Время —  
                                начинаю  
                                про Ленина рассказ.  
Но не потому,  
                                что горя  
                                нету более,  
время  
                                потому,  
                                что резкая тоска  
стала ясною,  
                                осознанною болью.  
Время,  
                                снова  
                                ленинские лозунги развихрь.  
Нам ли  
                                растекаться  
                                слезной лужею?  
Ленин  
                                и теперь  
                                живее всех живых.  
Наше знание,  
                                сила  
                                и оружие.  
Люди — лодки:  
                                Хотя и на суше.  
Проживешь  
                                свое  
                                пока,  
много всяких  
                                грязных ракушек  
налипает  
                                нам  
                                на бока.  
А потом,  
                                пробивши  
                                бурю разозленную,  
сядешь,  
                                чтобы солнца близ,

и считаешь  
                                 подрослей  
                                 бороду зеленую  
 и медуз малиновую слизь.  
 Я  
     себя  
         под Лениным чишу,  
 чтобы плыть  
                         в революцию дальше.  
 Я боюсь  
                 этих строчек тысячи,  
 как мальчишкой  
                         боишься фальши.  
 Рассияют головою венчик,  
 я тревожусь,  
                 не закрыли чтоб  
 настоящий,  
                 мудрый,  
                         человечий,  
 ленинский  
                 огромный лоб.  
 Я боюсь,  
         чтоб шествия  
                         и мавзолее,  
 поклонений  
                 установленный статут,  
 не залили б  
                 приторным елеем  
 ленинскую  
                 простоту.  
 За него дрожу,  
                 как за зеницу глаза,  
 чтоб конфетной  
                 не был  
                         красотой оболган.  
 Голосует сердце —  
                         я писать обязан  
 по мандату долга.  
 Вся Москва.  
                 Промерзшая земля  
                                 дрожит от гудя.  
 Над кострами  
                 обмороженные с ночи.  
 Что он сделал?  
                 Кто он  
                         и откуда?  
 Почему  
         ему  
                 такая почесть?  
 Слово за словом  
                 из памяти таская,  
 не скажу  
         ни одному —  
                         на место сядь.



Как бедна  
у мира  
слова мастерская!

Подходящее  
откуда взять?

У нас  
семь дней,  
у нас  
часов — двенадцать.

Не прожить  
себя длинней.

Смерть  
не умеет извиняться.

Если ж  
с часами плохо,  
мала

календарная мера,  
мы говорим —

«эпоха»,  
мы говорим —  
«эра».

Мы  
спим  
ночь.

Днем  
совершаем поступки.

Любим  
свою толочь

воду  
в своей ступке.

А если  
за всех смог  
направлять  
потоки явлений,

мы говорим —  
«пророк»,

мы говорим —  
«гений».

У нас  
претензий нет,  
не зовут —  
мы и не лезем;

нравимся  
своей жене,

и то  
довольны до-нельзя.

Если ж  
телом и духом слит

прет  
на нас непохожий,

шпилим —  
«царственный вид»,

удивляемся —  
«дар божий».



Мы  
     хороним  
 самого земного  
 из всех  
     прошедших  
             по земле людей.  
 Он земной,  
     но не из тех,  
             кто глазами  
 упирается  
     в свое корыто.  
 Землю  
     всю  
         охватывая разом,  
 видел  
     то,  
         что временем закрыто.  
 Он, как вы  
     и я,  
         совсем такой же,  
 только,  
     может быть,  
         у самых глаз  
 мысли  
     больше нашего  
         морщинят кожей,  
 да насмешливей  
     и тверже губы,  
         чем у нас.  
 Не сатрапия твердость,  
         триумфаторской коляской  
 мнущая  
     тебя,  
         подергивая вожжи.  
 Он  
     к товарищу  
         милел  
             людскою лаской.  
 Он  
     к врагу  
         вставал  
             железа тверже  
 Знал он  
     слабости  
         знакомые у нас,  
 как и мы —  
         перемогал болезни.  
 Скажем,  
     мне — бильярд —  
         отрашиваю глаз,  
 шахматы ему —  
         они вождам  
             полезней.  
 И от шахмат  
     перейдя  
         к врагу натурой,

в люди  
     выведа  
         вчераших пешек строй.  
 становил  
         рабочей — человеческой диктатурой  
 над тюремной  
         капиталовой гурой.  
 И ему  
     и вам  
         одно и то же дорого.  
 Отчего ж,  
         стоящий  
             от него поодаль,  
 я бы  
         жизнь свою,  
             глупея от восторга,  
 за одно б  
         его дыханье  
             отдал?  
 Да не я один!  
         Да что я  
             лучше, что ли?!  
 Даже не позвать,  
         раскрыть бы только рот —  
 Кто из вас  
         из сёл,  
             из кожи вон,  
                 из штолен  
 не шагнет вперед?!  
 В качке —  
         будто бы хватил  
             вина и горя лишку —  
 инстинктивно  
         хоронюсь  
             трамвайной сети.  
 Кто  
         сейчас  
             оплакал бы  
                 мою смертишку  
 в трауре  
         вот этой  
             безграничной смерти!  
 Со знаменами идут  
         и так.  
             Похоже —  
 стала  
         вновь  
             Россия кочевой.  
 И Колонный зал  
         дрожит,  
             насквозь прохожен.  
 Почему?  
         Зачем  
             и отчего?

Телеграф  
охрип  
от траурного гуда.  
Слёзы снега  
с флажных покрасневших век.  
Что он сделал?  
Кто он  
и откуда —  
этот  
самый человечный человек?

Слова  
у нас,  
до важного самого,  
в привычку входят,  
ветшают, как платье.

Хочу  
снять заставить заново  
величественнейшее слово —  
партия.

Единица!  
Кому она нужна?!  
Голос единицы  
тоньше писка.  
Кто ее услышит? —  
разве жена!

И то,  
если не на базаре,  
а близко.

Партия —  
это  
единый ураган,  
из голосов спрессованный  
тихий и тонких,  
от него

лопаются  
укрепления врага,  
как в канонаду  
от пушек  
перепонки.

Плохо человеку,  
когда он один.

Горе одному,  
один не воин, —  
каждый дюжий  
ему господин,  
и даже слабые,  
если двое.

А если  
в партию  
сгрудились малые, —  
сдайся, враг,  
замри и ляг!

Партия —  
рука миллионопалая,

сжатая  
     в один  
         громающий кулак.  
 Единица — вздор,  
         единица — ноль,  
 один —  
     даже если  
         очень важный —  
 не подымет  
         простое  
             пятивершковое бревно,  
 тем более  
         дом пятиэтажный.  
 Партия —  
     это  
         миллионов плечи,  
 друг к другу  
         прижатые туго.  
 Партией  
     стройки  
         в небо взмечем,  
 держа  
     в вздымая друг друга.  
 Партия —  
         спинной хребет рабочего класса.  
 Партия —  
         бессмертные нашего дела.  
 Партия — единственное,  
         что мне не взменит.  
 Сегодня приказчик,  
         а завтра  
             царства стираю в карте я.  
 Мозг класса,  
     дело класса,  
         сила класса,  
             слава класса —  
                 вот что такое партия.  
 Партия и Ленин —  
         близнецы-братья, —  
 кто более  
         матери-истории ценен?  
 Мы говорим — Ленин,  
         подразумеваем — партия,  
 мы говорим — партия,  
         подразумеваем — Ленин.  
 Ильич на Разливе,  
         Ильич в Финляндии.  
 Но ни чердак,  
         ни шалаш,  
             ни поле

вождя  
                     не дадут  
                                 озверелой банде вх.  
 Ленина не видно,  
                                 но он близ.  
 По тому,  
                     работа движется как,  
 видна  
                     направляющая  
                                 ленинская мысль,  
 видна  
                     ведущая  
                                 ленинская рука.  
 Словам Ильичевым —  
                                 лучшая почва:  
 падают,  
                     сейчас же  
                                 дело растя,  
 и рядом  
                     уже  
                                 с плечом рабочего  
 плечи  
                     миллионов крестьян.  
 И когда  
                     осталось  
                                 на баррикады выйти,  
 день  
                     наметив  
                                 в ряду недель,  
 Ленин  
                     сам  
                                 явился в Питер:  
 — Товарищи,  
                                 довольно тянуть канитель! —  
 Гнет капитала,  
                                 голод-уродина,  
 войн бандитизм,  
                                 интервенция вóрья, —  
 будет! —  
                     покажутся  
                                 белее родинок  
 на теле бабушки,  
                                 древней истории.  
 И оттуда  
                     на дни  
                                 оглядываясь эти,  
 голову  
                     Ленина  
                                 взвидишь сперва.  
 Это  
                     от рабства  
                                 десяти тысячелетий  
 к векам  
                     коммуны  
                                 сияющий перевал.

Пройдут  
                   года  
                   сегодняшних тягот,  
 летом коммуны  
                   согреет летá,  
 и счастье  
                   сластью  
                   огромных ягод  
 дозреет  
                   на красных  
                   октябрьских цветах.  
 И тогда  
                   у читающих  
                   ленинские веления,  
 пожелтевших  
                   декретов  
                   перебирая листки,  
 выступят  
                   слезы,  
                   выведенные из употребления,  
 и кровь  
                   волнением  
                   ударит в виски.

Когда я  
                   итожу  
                   то, что прбжил,  
 и роюсь в днях —  
                   ярчайший где,  
 я вспоминаю  
                   одно и то же —  
 двадцать пятое,  
                   первый день.

Штыками  
                   тычется  
                   чирканье молний,  
 матросы  
                   в бомбы  
                   играют, как в мячики.

От гуда  
                   дрожит  
                   взбудораженный Смольный.  
 В патронных лентах  
                   внизу пулеметчики.

— Вас  
                   вызывает  
                   товарищ Сталин.

Направо  
                   третья,  
                   он  
                   там.

— Товарищи,  
                   не останавливаться!  
                   Чего стали?

В броневики  
                   и из почтамт! —





■ этим  
     глазом  
         наверное выловится —  
 ■ крик крестьянский,  
         и вопли фронта,  
 ■ воля нобельца,  
         и воля путяловца.  
 Он  
     в черепе  
         сотней губерний ворочал,  
 людей  
         носил  
         до миллиардов полутора.  
 Он  
     взвешивал  
         мир  
         в течение ночи,  
 а утром:  
 — Всем!  
         Всем!  
         Всем это —  
 фронтам,  
         кровью пьяным,  
 рабам  
         всякого рода,  
 ■ рабство  
         богатым отданным. —  
 Власть Советам!  
 Земля крестьянам!  
 Мир народам!  
 Хлеб голодным! —  
 Буржуи  
         прочли  
         — погодите,  
                 выловим, —  
 животики пятят  
         доводом веским, —  
 ужо им покажут  
         Духонин с Корниловым,  
 покажут ужо им  
         Гучков с Керёнским.  
 Но фронт  
         без боя  
         слова эти взяли —  
 деревня  
         и город  
         декретами зальт.  
 и даже  
         безграмотным  
         сердце прожег.  
 Мы знаем,  
         не нам,  
         а им показали,  
 какое такое бывает  
         «ужо».

Переходило  
 от близких к ближним,  
 от ближних  
 дальним взрывало сердца:  
 «Мир хижинам,  
 война,  
 война,  
 война дворцам!»  
 Дрались  
 в любом заводе и цехе,  
 горохом  
 из городов вытряхали,  
 а сзади  
 шаганье октябрьское  
 метило веки  
 пылающих  
 дворянских усадеб.  
 Земля —  
 подстилка под ихними порками,  
 и вдруг  
 ее,  
 как хлебища в узел,  
 со всеми ручьями ее  
 и пригорками  
 крестьянин взял  
 и зажал, закорузел.  
 В очках  
 манжетщики,  
 злостью похаркав,  
 ползли туда,  
 где царство да графство.  
 Дорожка скатертью!  
 Мы и кухарку  
 каждую  
 выучим  
 управлять государством!

Если бы  
 выставить в музее  
 плачущего большевика,  
 весь день бы  
 в музее  
 торчали ротозей.

Еще бы —  
 такое  
 не увидишь и в века!  
 Пятиконечные звезды  
 выжигали на наших спинах  
 панские воеводы.

Живьем,  
 по голову в землю,  
 закапывали нас банды  
 Мамонтова.

В паровозных топках  
 сжигали нас японцы,  
 рот заливали свинцом и оловом.

Отрежисесь! — ревели,  
но из  
горящих глоток  
лишь три слова:  
Да здравствует коммунизм!  
Кресло за креслом,  
ряд в ряд  
эта сталь,  
железо это  
вваливалось  
двадцать Второго января  
в пятиэтажное здание  
Съезда советов.  
Усаживались,  
кидались усмешкою,  
решали  
пóходя  
мелочь дел.  
Пора открывать!  
Чего они мешкают?  
Чего  
президенту,  
как вырубленный, поредел?  
Отчего  
глаза  
краснее ложи?  
Что с Калининым —  
держится еле.  
Несчастье?  
Какое?  
Быть не может!  
А если с ним?..  
Нет!  
Неужели?  
Потолок  
на нас  
пошел снижаться вороном.  
Опустили головы —  
еще нагни!  
Задрожали вдруг  
и стали черными  
люстр расплывшихся огни.  
За лебнуул  
колокольчика ненужный шелк.  
Превозмог себя  
и встал Калинин.  
Слёзы не сжуешь  
с усов и шек.  
Выдали.  
Блестят у бороды на клине.  
Мысли смешались,  
голову минут.  
Кровь в виски,  
клокочет в вене.  
— Вчера  
в шесть часов пятьдесят минут  
с скончался товарищ Ленин! —

Этот год  
                   видал,  
                   чего не взвидят сто.  
 День  
           векам  
                   войдет  
                   в тоскливое преданье.  
 Ужас  
           из железа  
                   выжал стон.  
 По большевикам  
                   прошло рыданье.  
 Тяжесть страшная!  
                   Самих себя же  
                                   выволакивали волоком.  
 Разузнать —  
                   когда и как? —  
                                   Чего таят!  
 В улицы  
           и в переулки  
                   катафалком  
 плыл  
           Большой театр.  
 Радость  
           ползет улиткой.  
 У горя  
           бешеный бег.  
 Ни солнца,  
           ни льдины слитка —  
 всё  
           сквозь газетное ситко  
 черный  
           засеял снег.  
 На рабочего  
           у станка  
 весть набросилась.  
                   Пулей в уме.  
 И как будто  
           слезы стакан  
 опрокинули на инструмент.  
 И мужичонко,  
           видавший виды,  
 смерти  
           в глаз  
                   смотревший не раз,  
 отвернулся от баб,  
                   но выдала  
 кулаком  
           растертая грязь.  
 Были люди — кремь,  
                   и эти  
 прикусились,  
           губу уродуя.  
 Стариками  
           рассерезничались дети,

в как дети  
                                  плакали седобородые.  
 Ветер  
                                  всей земле  
                                  бессонницею выл,  
 и никак  
                                  оставшей  
                                  же додумать до конца,  
 что вот гроб  
                                  в морозной  
                                  комнатеночке Москвы  
 революции  
                                  и сына и отца.  
 Конец,  
                                  конец,  
                                  конец.  
                                  Кого  
 уверять!  
                                  Стекло —  
                                  и видите под...  
 Это  
                                  его  
                                  несут с Павелецкого  
 по городу,  
                                  взятому им у господ.  
 Улица —  
                                  будто рана сквозная,  
 так болит  
                                  и стонет так.  
 Здесь  
                                  каждый камень  
                                  Ленина знает  
 по топоту  
                                  первых  
                                  октябрьских атак.  
 Здесь  
                                  все,  
                                  что каждое знамя  
                                  вышло,  
 задумано им  
                                  и велено им.  
 Здесь  
                                  каждая башня  
                                  Ленина слышала,  
 за ним  
                                  пошла бы  
                                  в огонь и в дым.  
 Здесь  
                                  Ленина  
                                  знает  
                                  каждый рабочий,  
 сердца ему  
                                  ветками елок стели.  
 Он в битву вел,  
                                  победу пророчил,

и вот  
     пролетарий —  
                                 всего властелин.  
 Здесь  
     каждый крестьянин  
                                 Ленина имя  
 в сердце  
     вписал  
                                 любовней, чем в святцы.  
 Он земли  
     велел  
                                 назвать своими,  
 что дедам  
     в гробах  
                                 засеченным снятся.  
 И коммунары  
     с-под площади Красной,  
 казалось,  
     шепчут:  
                                 — Любимый и милый!  
 Живи,  
     и не надо  
                                 судьбы прекрасней —  
 сто раз сразимся  
                                 и ляжем в могилы!  
 Сейчас  
     прозвучали б  
                                 слова чудотворца,  
 чтоб нам умереть —  
                                 и его разбудят, —  
 плотина улиц  
     в распашку растворится,  
 и с песней  
     на смерть  
                                 ринутся люди.  
 Но нету чудес,  
     и мечтать о них нечего.  
 Есть Ленин,  
     гроб  
                                 и согнутые плечи.  
 Он был человек  
     до конца человеческого —  
 неси  
     и казись  
                                 тоской человеческой.  
 Вовек  
     такого  
                                 бесценного груза  
 еще  
     не несли  
                                 океаны наши,  
 как гроб этот красный,  
                                 к Дому союзов  
 плывущий  
     на спинах рыданий и маршей.

Еще  
     в караул  
         вставала в почетный  
 суровая гвардия  
         ленинской выправка,  
 а люди  
     уже  
         прожидают, впечатаны  
 во всю длину  
         и Тверской  
                 в Дмитровки.  
 В семнадцатом  
         было —  
         в очередь дочери  
 за хлебом не вышлешь —  
         завтра съем!  
 Но в эту  
         холодную  
         страшную очередь  
 с детьми и с больными  
         встали все.  
 Деревни  
         строились  
         с городом рядом.  
 То мужеством горе,  
         то детскими вызвонит,  
 Земля труда  
         проходила парадом —  
 живым  
         итогом  
         ленинской жизни.  
 Желтое солнце,  
         косое и лаковое,  
 взойдет,  
         лучами к подножью кидается.  
 Как будто  
         забитые,  
         надежду оплакивая,  
 склоняясь в горе,  
         проходят китайцы.  
 Вплывали  
         ночи  
         на спинах дней,  
 часы мешая,  
         путая даты.  
 Как будто  
         не ночь  
         и не звезды на ней,  
 а плачут  
         над Лениным  
         негры из Штатов.  
 Мороз небывалый  
         жарил подошвы.



А люди  
                     днюют  
                     давкою тесной.  
 Даже  
                     от холода  
                     бить в ладоши  
 никто не решается —  
                     нельзя,  
                     неуместно.  
 Мороз хватает  
                     и тащит,  
                     как будто  
 пытается,  
                     насколько в любви закаленные.  
 Врывается в толпы.  
                     В давку запутан,  
 вступает  
                     вместе с толпой за колонны.  
 Ступени растут,  
                     разрастаются в риф.  
 Но вот  
                     затишает  
                     дыханье и пенье,  
 и страшно ступить —  
                     под ногою обрыв —  
 бездонный обрыв  
                     в четыре ступени.  
 Обрыв  
                     от рабства в сто поколений  
 где знают  
                     лишь золота звонкий резон.  
 Обрыв  
                     и край —  
                     это гроб и Ления,  
 а дальше  
                     коммуна  
                     во весь горизонт.  
 Что увидишь?!  
                     Только лоб его лишь,  
 И Надежда Константиновна  
                     в тумане  
                     33...  
 Может быть,  
                     а глаза без слез  
                     увидеть можно больше.  
 Не в такие  
                     я  
                     смотрел глаза.  
 Знамен  
                     плывущих  
                     склоняется шелк  
 последней  
                     почестью отданной:  
 «Прощай же, товарищ,  
                     ты честно прошел  
 свой доблестный путь благородный».

Страх.  
Закрой глаза  
и не гляди —  
как будто  
идешь  
по проволоке прѳвода.  
Как будто  
минуту  
один-на-один  
остался  
с огромной  
единственной правдой.

Я счастлив.  
Звениящего марша вода  
относят  
тело мое невесомое.  
Я анаю —  
отныне  
и навсегда  
во мне  
минута  
эта вот самая.  
Я счастлив,  
что я  
этой силы частица,  
что общие  
даже слезы из глаз.  
Сильнее  
и чище  
нельзя причаститься  
великому чувству  
по имени —  
класс!  
Знаменные  
снова  
склоняются крылья,  
чтоб завтра  
опять  
подняться в бо́и —  
«Мы сами, родимый, закрыли  
орлиные очи твой».  
Только б не упасть,  
к плечу плечо,  
флаги вычернив  
и вѳками алѳя,  
на последнее  
прощанье с Ильичем  
шли  
я медлили у мавзолея.  
Выполняют церемониал.  
Говорили речи.  
Говорят — и ладно.  
Горе вот,  
что срок минуты  
мал —

разве  
     весь  
         охватишь ненаглядный!  
 Пройдут  
     и наверх  
         смотрят с опаской,  
 на черный,  
     посыпанный снегом кружок.  
 Как бешено  
     скачут  
         стрелки на Спасской.  
 В минуту —  
     к последней четверке прыжок.  
 Замрите  
     минуту  
         от этой вести!  
 Остановись,  
     движение и жизни!  
 Поднявшие молот,  
     стыньте на месте.  
 Земля, замри,  
     ложись и лежи!  
 Безмолвие.  
     Путь величайший окончен.  
 Стреляли из пушки,  
     а может, из тыщи.  
 И эта  
     пальба  
         казалась не громче,  
 чем мелочь,  
     в кармане бренчащая —  
                                 в нищем.  
 До боли  
     раскрыв  
         убогое зрение,  
 почти заморожен,  
     стою не дыша.  
 Встает  
     предо мной  
         у знамён в озарении  
 темный  
     земной  
         неподвижный шар.  
 Над миром гроб  
     неподвижен и нем.  
 У гроба —  
     мы,  
         людей представителя,  
 чтоб бурей восстаний,  
     дел и поэм  
 размножить то,  
     что сегодня видели.



Четыреста тысяч  
от стаека  
горячих —  
Ленину  
первый  
партийный венок.  
— Товарищ секретарь,  
бери ручку...  
Говорят — заменим...  
Надо, мол...  
Я уже стар —  
берите внучика,  
не отстает —  
подай комсомол. —  
Подшефный флот,  
подымай якоря,  
в море  
пора  
подводным кротам.  
«По морям,  
но морям,  
нынче здесь,  
завтра там».  
Выше, солнце!  
Будешь свидетель —  
скорей  
разглаживай траур у рта.  
В ногу  
взрослым  
вступают дети —  
тра-та-та-та-та,  
та-та-та-та.  
«Раз,  
два,  
три!  
Пионеры мы.  
Мы фашистов не боимся.  
Напрасно  
кулак Европы задран.  
Кроем их грохотом.  
Назад!  
Не смей!  
Стала  
величайшим  
коммунистом-организатором  
даже  
сама  
Ильичева смерть.  
Уже  
над трубами  
чудовишной роши,  
руки  
миллионов  
сложив в древко.





Где  
     земля  
         и где  
             закон,  
                 чтобы землю  
                     выдать  
                         к лету? —

Нету!  
 Что же  
     дают  
         за февраль,  
             за работу,  
                 за то,  
                     что с фронтов  
                         не бежишь? —

Шни.  
 На шее  
     кучей  
         Гучковы,  
             черти,  
                 министры,  
                     Родзянки...

Мать их за поги!  
 Власть  
     к богатым  
         рыло  
             воротит, —  
                 чего  
                     подчиняться  
                         ей?!

Бей!!  
 То громом,  
         то шопотом  
             этот ропот  
 сползал  
     из керенской  
         тюрьмы-решета.

В деревни  
     шел  
         по травам и тропам,  
 в заводах  
     сталью зубов скрежетал.

Чужие  
     партии  
         бросали швырком.

На что им  
     сбор  
         болтунов  
             дался?! —

И отдавали  
     большевикам  
 гроши,  
     и силы,  
         и голоса...

До самой  
     мужичьей  
         земляной башки





как щебечет  
                                 иной адъютантик:  
 «Такие случаи были —  
 он едет  
                                 в автомобиле.  
 Узнавши,  
                                 кто  
   и который, —  
 толпа  
                                 распрягла моторы!  
 Взамен  
                                 лошадиной силы  
 сама  
                                 на руках носила!»  
 В аплодисментном  
   плеске  
 премьер  
                                 проплывает  
   над Невским,  
 и дамы,  
                                 и дети-пузанчики  
 кидают  
                                 цветы и розанчики.  
 Если ж  
                                 с безработы  
   загрустит,ся,  
 сам  
                                 себя  
                                 уверенно и быстро  
 назначает —  
   то военным,  
   то юстиции,  
 то каким-нибудь  
   еще  
   министром.  
 И вновь  
                                 возвращается,  
   сказав,ув,  
 ворочать дела  
                                 и вертеть казну.  
 Подмахивает подписи  
   достойно  
   и старательно.  
 «Аграрные?  
                                 Беспорядки?  
   Ряд?  
 Пошлите  
                                 этот,  
   как его, —  
   карательный  
 отряд!  
 Ленин?  
                                 Большевики?  
   Арестуйте и выловите!  
 Что?  
                                 Не дают?  
   Не слышу без очков.



*В. В. Маяковский с собакой Булкой (1928).*

Кстати...  
об его превосходительстве...  
Корнилове...

Нельзя ли  
сговориться  
сюда  
казацков?!

Их величество?  
Знаю.  
Ну да!..

И руку жая.  
Какая ерунда!

Императора?  
На воду?  
И черную корку?

При чем тут Совет?  
Приказываю  
туда,

в Лондон,  
к королю Георгу.  
Пришит к истории,  
пронумерован и скрѣплен,  
и его  
рисуют —  
и Бродский и Репин.



Дул,  
как всегда,  
октябрь  
ветрами,  
как дуют  
при капитализме.  
Ва Тромцкий  
дули  
авто и трамы,  
обычные  
рельсы  
вызиеив.

Под мостом  
Нева-река,  
По Неве  
плывут кронштадтцы...  
От винтовок говорка  
скоро  
Зимнему шататься.  
В бешеном автомобиле,  
покрышки сбивши,  
тихий,  
вроде  
упакованной трубы,  
за Гатчину,  
забившись,  
улепетывал бывший. —

«В рог,  
     в бараний!      Вбунтовавшиеся рабы!..»  
 Видят  
     редких звезд глаза,  
 окружая  
     Зимний  
         в кольца,  
 по Миллионной  
         из казарм  
 надвигаются кексгольмцы \*  
 А в Смольном,  
         в думах  
                 о битве и войске,  
 Ильич  
     гримированный  
         мечет шажки,  
 да перед картой  
     Антонов с Подвойским  
 втыкают  
     в места атак  
         флажки.  
 Лучше  
     власть  
         добром оставь,  
 никуда  
     тебе  
         не деться!  
 Ото всех  
     идут  
         застав  
 к Зимнему  
     красногвардейцы.  
 Отряды рабочих,  
         матросов,  
                 голи  
 дошли,  
     штыком домерцав,  
 как будто  
     руки  
         сошлись на горле,  
 холёном  
     горле  
         дворца.  
 Две тени встало.  
         Огромных и шатких.  
 Сдвинулись.  
     Лоб о лоб.  
 И двор  
     дворцовый  
         руками решетки

\* Кексгольмцы — гвардейцы лейб-гвардии Кексгольмского полка.

стиснул  
                         торс  
                                 толп.  
 Качались  
                         две  
                                 огромных тени  
 от ветра  
                         и пуль скоростей, —  
 да пулеметы,  
                         будто  
                                 хрустенье  
 ломаемых костей.  
 Серчают стоящие павловцы \*.  
 «В политику...  
                         начали...  
                                 баловаться...  
 Куда  
                         против нас  
                                 бочкаревским \*\* дурам?!  
 Приказывали б  
                         на штурм».

Но тени  
                         боролись,  
                                 спутав лапы, —  
 и лап  
                         никто  
                                 не разнимал и не рвал.  
 Не выдержав  
                         молчания,  
                                 сдавался слабый —  
 уходил  
                         от испуга,  
                                 от нерва.

Первым,  
                         боязнью одолен,  
 снялся  
                         бабий батальон.  
 Ушли с батарей  
                         к одиннадцати  
 михайловцы или константиновцы... \*\*\*  
 — А Керенский —  
                         спрятался,  
                                 попробуй  
   вымань его!

Задумывалась  
                         казачья башка.  
 И  
                         ределя  
                                 защитники Зимнего,  
 как зубья  
                         у гребешка.

\* Павловцы — юнкера Павловского пехотного училища.

\*\* В числе отрядов, выступавших на стороне контрреволюции в 1917 году, был женский батальон, который возглавляла Бочкарева.

\*\*\* Михайловцы и константиновцы — юнкера Михайловского и Константиновского артиллерийских училищ.

И долго  
    длилось  
        это молчанье,  
молчанье надежд  
        и молчанье отчаянья.

А в Зимнем,  
        в мягких мебелих  
с бронзовыми выкрутами,  
сидят  
    министры  
        в меди блях,  
и пахнет  
    гладко выбритыми.  
На них не глядят  
        и их не слушают —

они  
    у штыков в лесу.  
Они  
    упадут  
        переспевшей грушею,  
как только  
        их  
        потрясут.

Голос — редок.  
Шопотом,  
        знаками.  
— Кéренский где-то? —  
Он?

    За казаками. —  
И снова молча.  
И только  
        пóд вечер:  
— Где Прокопович? —  
— Нет Прокоповича. —  
А из-за Николаевского  
чугунного мостá,  
как смерть,

        глядит  
                неласковая  
Аврорьих  
        башен  
                сталь.

И вот  
        высоко  
                над воротником  
поднялось  
        лицо Коновалова.

Шум,  
        который  
                тёк родником,

теперь  
        прибоем наваливал.  
Кто длинный такой?..

Дотянуться смог!

По каждому  
                                 из стекол  
   удары палки.  
 Это —  
                                 из трехдюймовок  
 шарахнули  
                                 форты Петропавловки.  
 А поверху —  
                                 город  
   как будто взорван —  
 бабахнула  
                                 шестидюймовка Авророва.  
 И вот  
                                 еще  
   не успела она  
 рассыпаться,  
                                 гулка и грозна —  
 над Петропавловкой  
   взвился  
   фонарь,  
 восстанья  
                                 условный знак.  
 — Долой!  
                                 На приступ!  
   Вперед!  
   На приступ! —  
 Ворвались.  
                                 На ковры!  
   Под раззолоченный кров!  
 Каждой лестницы  
                                 каждый выступ  
 брали,  
                                 перешагивая  
   через юнкеров.  
 Как будто  
                                 водою  
   комнаты полня,  
 текли,  
                                 сливались  
   над каждой потерей,  
 и схватки  
                                 вспыхивали  
   жарче полдня  
 за каждым диваном,  
   у каждой портьеры.  
 По этой  
                                 анфиладе,  
   приветствиями оранной  
 монархам,  
                                 несущим  
   короны-клады, —  
 бархатными залами,  
   раскатистыми коридорами  
 гремели,  
                                 бились  
   сапоги я приклады.



Какой-то смущенный  
 а над ним сукья сын,  
 путиловец — нежней папаши:  
 «Ты, парнишка,  
 выкладай ворованные часы —  
 часы теперича наши!»  
 Топот рос и тех тринадцать  
 сгреб, забил, зашиб, затыркал.  
 Вабиялись, под галстух — ва что им приняться? —  
 Как будто топор навис над затылком.  
 Ва двести шагов... ва тридцать... за двадцать...  
 Вбегает юнкер:  
 «Драться глупо!»  
 Тринадцать визгов: — Сдаваться! Сдаваться! —  
 А двери — бушлаты, шинели, тулупы...  
 И в эту тишину, раскатившийся всласть  
 бас, окрепший над реями рея:  
 «Которые тут временные? Слазь!  
 Кончилось ваше время». А в Смольном толпа, растопырив грудн,  
 покрывала песней фейерверк сведений.

Впервые  
                         вместо:  
                                 — и это будет... —  
 дели:  
                         — и это есть  
   наш последний... —  
 До рассвета  
                         осталось  
   не больше аршина, —  
 руки  
                         лучей  
                                 с востока взмóлены.  
 Товарищ Подвойский  
   сел в машину,  
 сказал устало:  
                                 «Кончено...  
   В Смольный».  
 Умолк пулемет.  
                                 Угодил толкóв.  
 Умолкнул  
                                 пуль  
   звениящий улей.  
 Горели,  
                         как звезды,  
   границы штыков,  
 бледнели  
                         звезды небес  
   в карауле.  
 Дул,  
                         как всегда,  
   октябрь  
   ветрами.  
 Рельсы  
                         по мосту выменяв,  
 гонку  
                         свою  
   продолжали трамы  
 уже —  
                         при социализме.



Холод большой.  
                                 Зима здорова.  
 Но блузы  
                         прилипли к потненьким.  
 Под блузой коммунисты.  
   Грузят дрова.  
 На трудовом субботнике.  
 Мы не уйдем,  
                         хотя  
   уйти  
 имеем  
                         все права.  
 В наши вагоны,  
                         на нашем пути,

*наши* грузим  
                    дрова.  
Можно уйти  
                    часа в два, —  
но *мы* — уйдем поздно.  
*Нашим* товарищам  
                    *наши* дрова  
нужны:  
                    товарищи мерзнут.  
Работа трудна,  
                    работа  
                    томит.  
За нее —  
                    никаких копеек.  
Но *мы* работаем,  
                    будто *мы*  
делаем  
                    величайшую эпопею.  
Мы будем работать,  
                    всё стерпя,  
чтоб жизнь,  
                    колёса дней торопя,  
бежала  
                    в железном марше  
в *наших* вагонах,  
                    по *нашим* степям,  
в города  
                    промерзшие  
                    *наши*.  
«Дяденька,  
                    что вы делаете тут,  
столько  
                    больших дядей?»  
— Что?  
                    Социализм:  
                    свободный труд  
свободно  
                    собранных людей.



Двенадцать  
                    квадратных аршин жилья.  
Четверо  
                    в помещении —  
Лиля,  
                    Ося,  
  
и собака  
                    Щеник.  
Шапчонку  
                    взял  
                    оборванную

и вытащил салазки.  
 — Куда идешь? — — В уборную  
 иду.  
 На Ярославский.  
 Как парус,  
                     шуба  
                     на весу,  
 воняет  
                     козлом она.  
 В саях  
                     полено везу,  
 забрал  
                     забор разломанный.  
 Полено —  
                     тушею,  
 тверже камня.  
 Как будто  
                     вспухшее  
 колено  
                     великанье.  
 Вхожу  
                     с бревном в обнимку.  
 Запотел,  
                     вымок.  
 Важно  
                     и чинно  
 строгою перочинным.  
 Нож —  
                     ржа.  
 Режу.  
                     Радуюсь.  
 В голове  
                     жар  
 подымает грядус.  
 Зацветают луга,  
 май  
                     поет  
                     в уши, —  
 это  
                     тянется угар  
 из-под черных вьюшек.  
 Четверо сосулек  
 свернулись,  
                     уснули.  
 Приходят  
                     люди,  
 ходят,  
                     будят.  
 Добудились еле —  
                     с углей  
                                     угорели.  
 В окно —  
                     сугроб  
                                     глядит горбат.  
 Не вымерзли покамест?

Морозы  
     в ночь  
                 идут, скрипят  
 снегами-сапогами.  
 Небосвод,  
     наклонившийся  
                         на комнату мою,  
 морем  
     заката  
                 облёт.  
 По розовой  
     глади  
                 моря  
                         на юг —  
 тучи-корабли.  
 За гладь,  
     за розовую,  
 бросать якоря,  
 туда,  
     где березовые  
 дрова  
     горят.  
 Я  
     много  
         в теплых странах плутал.  
 Но только  
     в этой зиме  
 понятной  
     стала  
         мне  
                 теплота  
 любовей,  
     дружб  
         и семей.  
 Лишь лежа  
     в такую вот гололедь,  
 зубами  
     вместе  
         проляскав —  
 поймешь:  
     нельзя  
         на людей жалеть  
 ни одеяло,  
     ни ласку.  
 Землю,  
     где воздух,  
         как сладкий морс,  
 бросишь  
     и мчишь, колеся, —  
 но землю,  
     с которою  
         вместе мерз,  
 вовек  
     разлюбить нельзя.



Скрыла  
та зима,  
худа и строга,  
всех,  
кто навек  
ушел ко сну.  
Где уж тут словам!  
И в этих  
строках

боли  
волжской  
я не коснусь.

Я  
дни беру  
из ряда дней,  
что с тысячей  
дней  
в родне.

Из серой  
полосы  
деньки,  
их гнали  
годы-  
водники —  
не очень  
сытенные,  
ве очень  
голодненькие.

Если  
я  
чего написал,  
если  
чего  
сказал, —  
тому виной  
глаза-небеса,  
любимой  
моей  
глаза.

Круглые  
да карие,  
горячие  
до гари.  
Телефон  
взбесился шалый,  
в ухо  
грохнул обухом:  
карие  
глазища  
сжала

голода  
опухоль.  
Врач наболтал —

чтоб глаза  
                     глазели,  
 нужна  
                     теплота,  
 нужна  
                     зелень.  
 Не домой,  
                     не на суп,  
 а к любимой  
                     в гости  
 две  
                     морковники  
                                 несу  
 за зеленый хвостик.  
 Я  
                     много дарил  
                                 конфет да букетов,  
 но больше  
                     всех  
                                 дорогих даров  
 я помню  
                     морковь драгоценную эту  
 и пол-  
                     полена  
                                 березовых дров.  
 Мокрые,  
                     тощие  
 подмышкой  
                     дровинки  
 чуть  
                     потолще  
 средней бровинки.  
 Вспухли щеки.  
 Глазки —  
                     щелки.  
 Зелень  
                     и ласки  
 выходили глазки.  
 Больше  
                     блюдца,  
 смотрят  
                     революцию.

Мне  
                     легше, чем всем, —  
 я  
                     Маяковский.  
 Сижу  
                     и ем  
 кусок  
                     конский.  
 Скрип —  
                     дверь,  
                                 плача.  
 Сестра  
                     младшая.

— Здравствуй, Володя! —  
 — Здравствуй, Оля! —  
 — Завтра новогодние —  
 нет ли  
     соли? —  
 Делю,  
     в ладонях вешаю  
 шепотку  
     отсыревшую.  
 Одолевая  
     снег  
         и страх,  
 скользит сестра,  
         идет сестра,  
 бредет  
     трехверстной Преснею  
 солить  
     картошку пресную.  
 Рядом  
     мороз  
 шел  
     и рос.  
 Затебал  
     щекотку —  
 отдай  
     шепотку.  
 Пришла,  
     а соль  
         не валится —  
 примерзла  
     к пальцам.  
 За стенкой —  
     шарк:  
 «Иди,  
     жена,  
 продай  
     пиджак,  
 купи  
     пшена».  
 Окно. —  
     с него  
 идут  
     снега,  
 мягка  
     снегов,  
 тиха  
     нога.  
 Бела,  
     гола  
 столиц  
     скала.  
 Прилип  
     к скале  
 лесов  
     скелет.



И вот  
из-за леса  
небу в шаль  
сползает  
солнца  
вша.  
Декабрьский  
рассвет,  
изможденный  
и поздний,  
встает  
над Москвой  
горячкой тифозной.

Ушли  
тучи  
к странам  
гучным.  
В лицо вам,  
толще  
свинных причуд,  
круглей  
ресторанных блюд,  
из нищей  
нашей  
земли  
кричу:

— Я  
землю  
эту  
люблю! —  
Можно  
забыть,  
где и когда  
пузы растил  
и зобы,  
во землю,  
с которой  
вдвоем голодал, —  
нельзя  
никогда  
забыть!



Хвалить  
не заставят  
ни долг,  
ни стих  
всего,  
что делаем мы.  
Я  
пол-отечества мог бы  
снести,  
а пол —  
отстроить, умыв.

Я с теми,  
                     кто вышел  
                                 строить  
   и месть  
 в сплошной  
                     лихорадке  
                                 буден.  
 Отечество  
                     славлю,  
                                 которое есть,  
 но трижды —  
                     которое будет.  
 Я  
             планов наших  
                                 люблю громадьё,  
 размаха  
                     шаги саженья.  
 Я радуюсь  
                     маршу,  
                                 которым идем  
 в работу  
                     и в сраженья.  
 Я вижу —  
                     где сор сегодня гниет,  
 где только земля простая, —  
 на сажень вижу,  
                     из-под нее  
 коммуны  
                     дома  
                                 прорастают.  
 И меркнет  
                     доверье  
                                 к природным дарам,  
 с унылым  
                     пудом сенца,  
 и поворачиваются  
                                 к тракторам  
 крестьян  
                     заскорузлые сердца.  
 И планы,  
                     что раньше  
                                 на станциях лбов  
 задерживал  
                     нищенства тормоз,  
 сегодня  
                     встают  
                                 из дня голубого,  
 железом  
                     и камнем формясь.  
 И я,  
             как весну человечества,  
 рожденную  
                     в трудах и в бою,  
 пою  
             мое отечество,  
 республику мою!



На девять  
                                сюда  
                                октябрей и маёв,  
под красными  
                                флагами  
                                праздничных шествий, —  
носил,  
                                с миллионами,  
                                сердце мое,  
уверен  
                                и весел,  
                                горд  
                                и торжествен.  
Сюда,  
                                под траур  
                                и плеск  
                                чернофлажий,  
пока  
                                убитого  
                                кровь горяча, —  
бежал,  
                                от тревоги,  
                                на выстрелы вражьи,  
молчать  
                                и мрачнеть,  
                                кричать  
                                и рычать.  
Я  
                                здесь  
                                бывал  
                                в барабанах стучащих  
и в мертвом  
                                холоде  
                                слез и льдин,  
а чаще еще —  
                                просто  
                                один.  
Солдаты башен  
                                стражей стоят,  
подняв  
                                свои  
                                островерхие шлемы, —  
и, злобу  
                                в башках куполов  
                                тая,  
притворяются  
                                церкви,  
                                монашьи шельмы.  
Ночь —  
                                и на головы нам  
луна.  
Она  
                                идет  
                                оттуда откуда-то...

оттуда,  
     где  
 Кремля Совнарком и ЦИК,  
     кусок  
 переползает от ночи откутав,  
     через зубцы.  
 Вползает на гладкий  
     валун,  
 на секунду  
     склоняет  
     голову,  
 и вновь  
     голова-лунь  
 уносится  
     с камня  
     гололого.  
 Место лобное —  
 для голов  
     ужасно неудобное.  
 И лунным  
     пламенем  
     озарена мне  
 площадь  
     в сияньи,  
     в яви  
     в денной...  
 Стена.  
     И женщина со знаменем  
 склонилась  
     над теми,  
     кто лег под стенай.  
 Облил  
     булыжники  
     лунный никель,  
 штыки  
     от луны  
     и тверже  
     и злей,  
 и  
     как нагроможденные книги —  
 его  
     мавзолеей.  
 Но в эту  
     дверь  
     никакая тоска  
 не втянет  
     меня,  
     черна и вязка, —  
 души  
     не смущу  
     мертвизной, —

он бьется,  
                     как бился  
                                     в сердцах  
   и висках,  
 живой  
                     человечьей весной.  
 Но могилы  
                     не пускают,  
                                     и меня  
 останавливают имена.  
 Вот с этим  
                     виделся  
                                     чуть не за час.  
 Смеялся.  
                     Снимался около..  
 И падает  
                     Войков,  
                                     кровью сочась, —  
 и кровью  
                     газета намокла.  
 За ним  
                     предо мной  
                                     на мгновенье короткое  
 такой,  
                     с каким  
                                     портретами сжились, —  
 в шинели измятой,  
                                     с острой бородкой,  
 прошел  
                     человек,  
                                     железен и жилист.  
 Юноше,  
                     обдумывающему  
                                     жизнь,  
 решающему —  
                     сделать бы жизнь с кого,  
 скажу  
                     не задумываясь:  
                                     — Делай ее  
 с товарища  
                     Дзержинского. —  
 Кто костями,  
                     кто пеплом  
                                     стенам под стопу  
 улеглись...  
                     А то  
                                     и пепла нет.  
 От трудов,  
                     от каторг  
                                     и от пуль,  
 и никто  
                     почти —  
                                     от долгих лет.  
 И чудится мне,  
                     что на красном погосте

товарищей  
мучит  
тревоги отравы.  
По пеплам идет,  
сочится по кости,  
выходит  
на свет  
по цветам  
и по травам.  
И травы  
с цветами  
шуршат в беспокойстве:  
— Скажите —  
вы здесь?  
Скажите —  
не сдали?  
Идут ли вперед?  
Не стоят ли? —  
Скажите.  
Достроит  
коммуны  
из света и стали  
республики  
вашей  
сегодняшний житель? —  
— Тише, товарищи, спите...  
Ваша  
подросток-страна  
с каждой  
весной  
ослепительней,  
крепнет,  
сильна и стройна. —  
В мире  
насилия и денег,  
тюрем  
и петель витя —  
ваши  
великие тени  
ходят,  
будя  
и ведя. —  
— А вас  
не тянет  
всевластная тина?  
Чиновность  
в мозгах  
паутину  
не свила?  
Скажите —  
цела?  
Скажите —  
едина?



*В. В. Маяковский на выставке «20 лет работы».  
1 февраля 1930 года.*

Готова ли  
к бою  
партийная сила? —  
— Спите,  
товарищи, тише...  
Кто  
ваш покой отберет?  
Встанем,  
штыки ошетинивши,  
с первым  
приказом:  
«Вперед!»



Я  
земной шар  
чуть не весь  
обошел. —  
и жизнь  
хороша,  
и жить  
хорошо.  
А в нашей буче,  
боевой, кипучей, —  
И того лучше.  
Вьется  
улица-змея.  
Дома  
вдоль змеи.  
Улица —  
моя.  
Дома —  
моя.  
Окна  
разинув,  
стоят  
магазины.  
В окнах  
продукты:  
вина,  
фрукты.  
От мух  
кисея.  
Сыры  
не засижены.  
Лампы  
сияют.  
«Цены  
снижены».  
Стала  
оперяться  
моя  
кооперация  
Бьем  
гршом.



Очень хорошо.  
 Грудью  
                                 у витринных  
   книжных груд.  
 Моя  
                 фамилия  
                                 в поэтической рубрике.  
 Радуюсь я —  
                                 это  
   мой труд  
 вливается  
                                 в труд  
   моей республики.  
 Пыль  
                 взбили  
                                 шиной губатой, —  
 в моем  
                                 автомобиле  
 мои  
                 депутаты.  
 В красное здание  
 на заседание.  
 Сидите,  
                 не советейте  
 в моем  
                                 Моссовете.  
 Розовые лица.  
 Револьвер  
                                 желт.  
 Моя  
                 милиция  
 меня  
                 бережет.  
 Жезлом  
                                 правит,  
 чтоб вправо  
                                 шел.  
 Пойду  
                 направо —  
                                 очень хорошо.  
 Надо мною  
                                 небо —  
 синий  
                 шелк.  
 Никогда  
                                 не было  
 так  
                 хорошо!  
 Тучи-  
                 кочки  
 переплыли летчики.  
 Это  
                 летчики  
                                 мой.  
 Встал  
                                 словно дерево я.

Всыпят,  
     как пойдут в бой,  
 по число  
     по первое.  
 Пестрит  
     передовица  
 угроз паршой.  
 Чтоб им подавиться!  
 Грозят?  
     Хорошо.  
 Полки  
     идут  
 у меня на виду.  
 Барабану  
     в бока  
 бьют  
     войска  
 Нога  
     крепка,  
 голова  
     высока.  
 Пушки  
     возятся, —  
 идут  
     краснозвездцы.  
 Приспособил  
     к маршу  
 такт ноги:  
 вра-  
     ги  
     ва-  
         ши —  
 мо-  
     и  
     вра-  
         ги.  
 Лезут?  
     Хорошо.  
 Сотрем  
     в порошок.  
 Дымовой  
     дых  
         тяг.  
 Воздух á береги.  
 Пых-дых,  
     пых-  
         тят  
 мои фабрики.  
 Пыши,  
     машина,  
         шибче ка —  
 вовек чтоб  
     не смолкла, —  
 побольше  
     ситчика

моим  
     комсомолкам.  
 Ветер  
     подул  
 в соседнем саду.  
 В ду-  
     хах  
         про-  
             шел.  
 Как хо-  
     рошо!  
 За городом —  
     поле.  
 В полях —  
     деревеньки.  
 В деревнях —  
     крестьяне.  
 Бороды —  
     веники.  
 Сидят  
     папаши.  
 Каждый  
     хитр.  
 Землю попашет,  
 напишет  
     стихи.  
 Что ни хутор,  
 от ранних утр  
 работа любá.  
 Сеют,  
     пекут  
 мне  
     хлебá.  
 Доят,  
     пашут,  
 ловят рыбицу;  
 республика наша  
 строится,  
     дыбится.  
 Другим  
     странам  
         пó сто.  
 История —  
     пастью гроба.  
 А моя  
     страна —  
         подросток, —  
 твори,  
     выдумывай,  
         пробуй!  
 Радость прет.  
     Не для вас  
         уделить ли нам?!  
 Жизнь прекрасна  
     и  
         удивительна.

Лет до ста  
                                 расти  
 нам  
                         без старости.  
 Год от года  
                                 расти  
 нашей бодрости.  
 Славьте,  
                                 молот  
   и стих,  
 землю молодости.

## **ВО ВЕСЬ ГОЛОС**

Первое ветупление в поэму

Уважаемые  
                                 товарищи потомки!  
 Роясь  
                         в сегодняшнем  
   окаменевшем дерьме,  
 наших дней изучая потемки,  
 вы,  
                         возможно,  
                                 спросите и обо мне.  
 И, возможно, скажет  
                                 ваш ученый,  
 кроя эрудицией  
                                 вопросов рой,  
 что жил-де такой  
                                 певец кипяченой  
 и ярый враг воды сырой.  
 Профессор,  
                                 снимите очки-велосипед!  
 Я сам расскажу  
                                 о времени  
   и о себе.  
 Я, ассенизатор  
                                 и водовоз,  
 революцией  
                                 мобилизованный и призванный,  
 ушел на фронт  
                                 из барских садоводств  
 поэзии —  
                                 бабы капризной.  
 Засадил садик мило  
 дочка,  
                         дача,  
                                 воду  
   и гладь.  
 «Сама садик я садила,  
 сама буду поливать».  
 Кто стихами льет из лейки,  
 кто кропит,  
                                 набравши в рот, —

кудреватые Митрейки.  
 кто их, к чорту, разберет! мудреватые Кудрейки —  
 Нет на прорву карантина —  
 мандолинят из-под стен:  
 «Тара-тина, тара-тина,  
 т-эн-н...»  
 Неважная честь,  
 чтоб из этаких роз  
 мои изваяния высились  
 по скверам,  
 где харкает туберкулез,  
 где ..... с хулиганом  
 да сифилис.  
 И мне  
 агитпроп  
 в зубах навяз,  
 и мне бы  
 строчить  
 романсы на вас, —  
 доходней оно  
 и прелестней.  
 Но я  
 себя  
 смирял,  
 стансвась  
 на горло  
 собственной песне.  
 Слушайте,  
 товарищи потомки,  
 агитатора,  
 горлана-главаря!  
 Заглуша  
 поэзии потоки,  
 я шагну  
 через лирические томики,  
 как живой  
 с живыми говоря.  
 Я к вам приду  
 в коммунистическое далеко  
 не так,  
 как песенно-есененный провитязь.  
 Мой стих дойдет  
 через хребты веков  
 и через головы  
 поэтов и правительств.  
 Мой стих дойдет,  
 но он дойдет не так, —  
 не как стрела  
 в амурно-лировой охоте,  
 не как доходит  
 к нумизмату стершийся пятак  
 и не как свет умерших звезд доходит.  
 Мой стих  
 трудом  
 громаду лет прорвет



Велели нам  
    итти  
 года труда            под красный флаг  
    и дни недоеданий.  
 Мы открывали  
    Маркса  
    каждый том,  
 как в доме  
    собственном  
    мы открываем ставни,  
 но и без чтения  
    мы разбирались в том,  
 в каком итти,  
    в каком сражаться стане.  
 Мы  
    диалектику  
    учили не по Гегелю.  
 Бряцанием боев  
    она врывалась в стих,  
 когда  
    под пулями  
    от нас буржуи бегали,  
 как мы  
    когда-то  
    бегали от них.  
 Пускай  
    за гениями  
    безутешною вдовой  
 плетется слава  
    в похоронном марше, —  
 умри, мой стих,  
    умри, как рядовой,  
 как безымянные  
    на штурмах мерли наши.  
 Мне наплевать  
    на бронзы многопудье,  
 мне наплевать  
    на мраморную слизь.  
 Сочтемся славою, —  
    ведь мы свои же люди,  
 пускай нам  
    общим памятником будет  
 построенный  
    в боях  
    социализм.  
 Потомки,  
    словарей проверьте поправки:  
 Из Леты  
    выплывут  
    остатки слов таких,  
 как «преституция»,  
    «туберкулез»,  
    «блокада».  
 Для вас,  
    которые  
    здоровы и ловки,

поэт  
вылизыва.т чахоткины плеаки  
шершавым языком плаката.  
С хвостом годов я становлюсь подобием  
чудовищ ископаемо-хвостатых.  
Товарищ жизнь, давай  
быстрей протопаем,  
протопаем по пятилетке  
дней остаток.  
Мне и рубля не накопили строчки,  
краснодеревщики не слали мебель на́ дом.  
И кроме свежевымытой сорочки,  
скажу по совести, мне ничего не надо.  
Явившись в Це Ка Ка идущих  
светлых лет,  
над бандой поэтических  
рвачей и выжиг  
я подыму, как большевистский партбилет.  
все сто томов моих  
партийных книжек.



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Лев Кассиль</i> — Жизнь стиха . . . . .	3
Ну что ж! . . . . .	9
Призыв . . . . .	—
Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела! . . . . .	10
Секрет молодости . . . . .	12
Сказка о красной шапочке . . . . .	14
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче . . . . .	—
Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума . . . . .	17
Сказка о дезертире . . . . .	20
Прозаседавшиеся . . . . .	25
Товарищу Нетте — пароходу и человеку . . . .	26
Разговор на Одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия». . .	28
Чудеса! . . . . .	29
Корона и кепка . . . . .	31
Солдаты Дзержинского . . . . .	34
Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущ- ности любви : . . . . .	36
Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру . . . . .	39
Стихи о разнице вкусов . . . . .	41
Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка . .	42
Особое мнение . . . . .	44
Любители затруднений . . . . .	45
Стихи о советском паспорте . . . . .	47
Париж . . . . .	49
Город . . . . .	52
Атлантический океан . . . . .	54
Тропики . . . . .	57
Бруклинский мост . . . . .	58
Домой! . . . . .	61
Поэт — рабочий . . . . .	64
Юбилейное . . . . .	65
Разговор с фининспектором о поэзии . . . .	72
Послание пролетарским поэтам . . . . .	78
Мы не верим! . . . . .	82
Разговор с товарищем Лениным . . . . .	83
Владимир Ильич Ленин. (Из поэмы) . . . .	85
Хорошо! (Из поэмы) . . . . .	108
Во весь голос . . . . .	138

*Составители сборника*  
**В. ПЕРЦОВ и О. РЕЗНИК**

*Обложка*  
**Г. ФИШЕРА**

**ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА**

Ответств. редактор *И. Воробьева*.  
Подписано к печати 4/IX 1942 г.  
9 печ. л. (10,7 уч.-изд. л.), 52 800 зн.  
в печ. л. Тираж 50000 экз. Л92591.  
Заказ № 2260. Цена 3 р. 50 к.

---

Фабрика детской книги Детгиз  
Наркомпроса РСФСР. Москва,  
Сушевский вал. 49.